



ПИСАТЕЛИ
ЧЕХОВСКОЙ
ПОРЫ

Игнатий Николаевич Потапенко

Шестеро



Игнатий Николаевич Потапенко — незаслуженно забытый русский писатель, человек необычной судьбы. Он послужил прототипом Тригорина в чеховской «Чайке». Однако в отличие от своего драматургического двойника Потапенко действительно обладал литературным талантом. Наиболее яркие его произведения посвящены жизни приходского духовенства, — жизни, знакомой писателю не понаслышке. Его герои — незаметные отцы-подвижники, с сердцами, пламенно горящими любовью к Богу, и задавленные

нуждой сельские батюшки на отдаленных приходах, лукавые карьеристы и уморительные простаки... Повести и рассказы И.Н.Потапенко трогают читателя своей искренней, доверительной интонацией. Они полны то искрометного юмора, то глубокого сострадания, а то и горькой иронии.

Произведения Игнатия Потапенко (1856–1929), русского прозаика и драматурга, одного из самых популярных писателей 1890-х годов, печатались почти во всех ежемесячных и еженедельных журналах своего времени и всегда отличались яркой талантливостью исполнения. А мягкость тона писателя, изысканность и увлекательность сюжетов его книг очень быстро сделали Игнатия Потапенко любимцем читателей.

Содержание

I.....	.0006
II.....	.0037
III.....	.0070
IV.....	.0091
КОММЕНТАРИИ.....	.0108

**Игнатий Николаевич
Потапенко
Шестеро**

— Ох, мученица я, мученица-страстотерпица, да и только! И вот же к другим господь милосерд! У перекопского дьяка прошлым летом двоих в одну неделю прибрал... Да чего ты раздираешься? Ну, чего, скажи, бога ради, чего-о?

— Натонька, Натонька, Христос с тобою, что ты говоришь? Грех даже думать такими мыслями, а ты слова говоришь... Ах ты, боже мой!

Натонька лежала, свернувшись в клубок, на коротеньком неуклюжем диванчике, обитом зеленым трипом, с желтыми пятнами в различных местах. В крепко натопленной комнате с низким и слегка покатым потолком, с маленькими окнами, зеленоватые неровные стекла которых придавали пропускаемому ими свету печальный сероватый оттенок, было душно и пахло дымком, но, несмотря на это, Натонька вздрагивала и плотнее прикрывалась старою касторовою рясой отца Антония. В комнате стоял невообразимый гвалт, производимый шестью ребя-

тишками, из коих старшему было семь лет, а самый младший еще только пытался ползать по дырявому ряденцу, разостланному на полу. Вся эта компания играла и шумела, причем старший, Тимошка, изображал священника, подражая в манерах и интонации местному настоятелю, отцу Панкратию, а прочие выполняли обязанности причетников, «тытара»[1] и прихожан. Но именно «тытарь», роль которого досталась четырехлетней Паше, в чем-то сбился, за что получил от пятилетнего разбойника Васьки тяжеловесную затрецину. За Пашу заступилась шестилетняя Маринка, бледная девочка с серьезным, задумчивым выражением глаз, на Маринку наступал Тимошка, подымался общий рев, и все это тянулось к коротенькому дивану за утешением. Натонька, у которой трещала голова и разламывало кости, должна была каждую минуту вставать и чинить суд и расправу. Понятно, что это ее раздражало и доводило до бешенства. А отец Антоний сидел за небольшим четырехугольным столиком, спиной к Натоньке и к детям, и, широко разложив на столе свои локти в обе стороны и наклонившись всем

туловищем вперед, усердно писал метрическую книгу. Со дня на день в село ожидался благочинный, у которого во всякое время может явиться желание проревизовать книги, а отец Антоний, из-за болезни Натоньки, запустил это дело. Между тем для него очень важно, чтобы благочинный нашел все в исправности.

И он ужасно торопился, до такой степени торопился о. Антоний, что предоставил Натоньке жаться от лихорадочной дрожи под его касторовую рясу и не расспрашивал, что у нее болит и как она себя чувствует.

В оконце видна была церковь, площадь около церкви и часть замерзшей реки. На площади, и на церковной крыше, и на низком берегу речки, и на самом льду лежало ровное, гладкое и блестящее на солнце белое покрывало из свежего, выпавшего ночью снега. Мужик в кожухе с заплатами, в сивой шапке и в высоких сапогах, оставлявших на мягком снегу полуаршинные следы, вез по льду свежесжатый камыш. Худая лошаденка ступала по гладкой дороге легко, а деревянные полозья с загнутыми кверху передами, каза-

лось, катились за нею сами собой.

— Ты бы пустила, Натонька, ребят на улицу. Пусть бы снежком поиграли. Славно так на улице! — сказал о. Антоний, не переменив позы и продолжая писать метрическую книгу.

— Ах, да пускай бегут! Пускай хоть сквозь землю провалятся! Дай ты мне минуту покоя! — надрывающимся голосом воскликнула Натонька и с шумом повернулась на другой бок, лицом к спинке дивана.

Отец Антоний покачал головой, но ничего не сказал. «Ох ты, господи, господи! Какие слова! — думал он. — Это болезнь в ней говорит, а сама-то она не чувствует так, сама-то добрая Натонька... Ах, бедняжечка!»

И стал он думать о том, как бы выгнать из Натоньки эту болезнь, которая бог знает с чего привязалась к ней. Фельдшер смотрел ее и сказал, что лихорадка. И два года уже тянется эта лихорадка. Походит Натонька, походит денька три, а там и сляжет да неделю и валяется. А то и на ногах ходя перемогаются, жметесь и охает. И на грудь жалуются, и кости ей ломит; бог ее знает, что за болезнь. Советовался

о. Антоний с одним знакомым доктором в городе. Доктору-то приехать в село нельзя, времени нет, а город далеко, сорок верст, — где тут зимой тащить больную? Да и сама Натонька не хочет, никак не уговоришь ее. Это, говорит, так, легкая простуда, — весна придет, солнышко пригреет, и сама пройдет. Фельдшер порошки хинные давал, но от них только пуще в голове шумит, а помощи никакой. Одна тут баба есть, Метеличиха, коренья какие-то давала, настой велела делать и по понедельникам да по пятницам натошак пить, — тоже ничего не помогает. Может, оно и в самом деле, как весна придет, солнышко вылечит. Ребятишки вот очень раздражают ее. Ей бы полежать да соснуть хорошенько, а они тормозят ее. Вот она и из себя выходит, и слова говорит такие, которых в сердце у ней вовсе нет. А заменить ее некому. Сестра его, о. Антония, изредка наезжает. Живет у братьев по очереди. Не выписать ли ее теперь из Тягинки? Что-то на этот раз Натонька крепко залегла. А все от бедности. Приход небогатый, а у него еще дьячковская вакансия, потому что дьякона в приходе совсем по штату не по-

лагается. Получает двадцать копеек с рубля. Вот и живи, как хочешь. Шутка ли, за восемь лет супружества шестерых ребят наплодили! А ему-то всех 28, да Натоньке 26, сколько это еще у них детишек может быть и чем их кормить, да одевать, да обувать? Вот ежели бы архиерей смилостивился да во священника рукоположил, другая бы жизнь пошла. Натонька себе в помощь какую-нибудь женщину взяла бы и поправилась бы, детей бы воспитать можно, в люди вывести; а то ведь, пожалуй, придется без науки оставить, а уж это, по нынешним временам, такая беда, что хуже не надо. Да, если бы владыка смилостивился, хорошо было бы!

Перед самыми оконцами прокатили городские аккуратные нарядные сани, запряженные парой, и проехали мимо. Отец Антоний сейчас узнал их и того, кто в них сидел.

— Гм... А вот и благочинный приехал. Сейчас к отцу Панкратию прокатил, — вслух сказал он. — Эх, а метрические-то книги не готовы. Но авось не потребует. Пойти спросить — не было ли чего по моей части...

И он встал из-за стола, аккуратно посыпал

свое писанье песочком, высыпал песок обратно в стеклянную баночку и, бережно закрыв книгу, отложил ее к стене,

— Ну, детвора, одевайся! Сейчас на улицу выпущу. Ну, ну, Тимошка, одевай Пелагею, Васька — Аксютку, а Маринка Сашу в саночках повезет. Живей!

— Ох, боюсь, как бы они Сашу не уронили! — больным голосом промолвила Натонька.

«Ишь ты, ишь ты, — подумал о. Антоний, — слова-то какие страшные говорит, а сама боится за детей, самой жалко. То-то!»

— Нет, ничего, Маринка у меня умница! Ты, Натонька, не тово... не тревожься. Уж я сам все устрою. Ты поспи, поспи... Оно к вечеру и здоровехонька будешь.

Ребятишки между тем бросили игру и принялись одевать друг друга. Жалобный писк сменился восторженным криком, потому что все были рады яркому солнцу и белому снегу. Через три минуты гвалт уже перешел на церковную площадь. Комья снега полетели в разные стороны. Потомство о. Антония резвилось с самым беспечным весельем, не обра-

щая внимания на то, что на них была надета невозможнейшая рвань с дырьями и заплатами.

— Ишь ты, как кувыркаются! Радые какие! — воскликнул о. Антоний, глядя в окошко и в то же время надевая поверх кафтана зимнюю рясу.

— Ты прикажи им на лед не бегать, а то там ополонка есть, того и гляди влетят в ополонку, — сказала Натонька.

— Да уж ладно, уж ты не беспокойся, ты спи себе, голубка, спи... Э, ничего, поправимся. Даст бог, владыка смилуется, ну, и тово... желание наше... тово... сбудется. Тогда и поправимся! Спи себе, Натонька, а я к отцу Панкратию сбегаю, может, благочинный что знает... — Отец Антоний нагнулся и поцеловал Натоньку в лоб.

— Марья пускай на ребят поглядывает, — промолвила Натонька, провожая его глазами.

Дьякон сделал ей рукой успокоительный жест и вышел в сени, осторожно притворив за собою дверь. В темных сенях он нащупал другую дверь и заглянул в миниатюрную кухоньку. Марья с подтыканного спидницей

{юбкой (укр.)} толкла в небольшом горшочке сало для засмажки {приправы (укр.)} борща. Это была молодая, здоровая, краснощекая девушка с необычайно живым и веселым лицом. Эта Марья, у которой отец был горький пьяница, а мать вечно лежала с им же переломанною ногой, благодаря чему в хате у них было нусто и холодно, всегда была весела и ни минуты не оставалась без песни; и не было такого парня в селе, который, проходя мимо нее, удержался бы, чтоб не ущипнуть ее за мясистую руку или не смазать всею ладонью по спине. А она в ответ на это визжала и заливалась смехом. Марья и теперь, помешивая засмажку, мурлыкала какую-то песню.

— Слушай, Марья, ты на детей поглядывай, чтобы на речку не ходили, — сказал ей дьякон и прибавил вполголоса: — А ежели какой заплачет либо озябнет или что другое, возьми в кухню, а в горницу не пускай, — матушке отдохнуть надо. Слышала?

— А вже ж слышала, хиба ж я глухая! — скаля зубы, ответила Марья.

Дьякон опять очутился в темных сенях и, нащупав уже третью дверь, вышел на улицу.

Глубокий снег закрыл и дорогу к церкви, и тропинку к дому о. Панкратия. Только мелкие следы детских ног да две параллельные полосы от саней благочинного портили эту белоснежную гладь, отражавшую своими бесчисленными кристаллами яркие лучи солнца. Мороз стоял изрядный, но тем приятнее было чувствовать на своем лице и на руках как бы чуть-чуть пробивающуюся сквозь морозный воздух солнечную теплоту.

О. Антоний, глубоко ступая сапогами в снег, повернул направо и пошел прямо к дому настоятеля.

О. Панкратий Шептушенко жил в церковном доме, который сам для себя построил, и, надо отдать ему справедливость, построил крепко и удобно. С внешней стороны этот дом не блистал архитектурными красотами, но зато он был длинен и широк, вдвое выше любой мужицкой хаты, с железной крышей и, главное, каменный, тогда как все население деревни ютилось большею частью в землянках и только «богачи» возводили свои замки из желтой глины, смешанной с кизяком. К дому были и службы подходящие: конюшня,

скотный загон, поместительный амбар, множество сараев и сарайчиков и, вдобавок ко всему, целая десятина сада, по преимуществу вишневого, но не без яблони и не без груши. Все это было построено на земле церковной, т. е. отведенной обществом в вечное владение причта, и на деньги церковные, т. е. пожертвованные опять-таки теми же самыми прихожанами, и некогда, лет пятнадцать тому назад, предназначалось для всего причта, но о. Панкратий нашел, что по его обширному хозяйству весь этот дом, со всеми принадлежностями, как раз будет впору ему одному, и предоставил остальному причту жить в наемных хатах, не возбраняя, впрочем, строить и собственные. Причт сначала подумывал было о том, чтобы жаловаться по начальству, но, приняв во внимание дюжину жирных стогов хлеба и четыре огромнейших скирды сена, стоявших на току у о. Панкратия, две полные засеки еще прошлогоднего зерна, пятерку шустрых и крепких лошадей, чуть не целое стадо коров, тысячу овец, «дилижан» {Особого рода повозка, перенятая зажиточными поселянами у немцев-колонистов. (При-

меч. И. Н. Потапенко.)) крытый и «дилижан» простой, да еще одноколку, — приняв все это во внимание, а также и то, что о. Панкратий находился в добрых отношениях со всею консисторией, причт пришел к заключению, что о. Панкратию действительно как раз под стать занимать весь церковный дом.

О. Панкратий Шептушенко среди губернского духовенства был один из очень немногих. Это был священник-помещик или, лучше сказать, арендатор, потому что церковной земли было у него немного, каких-нибудь полсотни десятин. Попав в небогатый приход, о. Панкратий обратил свое внимание на землю и вот уже лет двадцать как он вел обширнейшее хозяйство, засевая ежегодно не менее двух тысяч десятин земли, а в последние годы он даже держал в долгосрочной аренде целое имение соседнего помещика Антюхина, который сошел с ума и оставил дела в неопределенном положении.

Особенно деятельно о. Панкратий занялся землей после того, как похоронил еще в цветущем возрасте жену, оставившую ему сына и дочку. От скуки ли, или по врожденному

влечению, он весь погрузился в хозяйство. Он вел обширные связи с городскими торговцами; купцы из русских и евреев бывали у него запросто, осматривая его засеки, ощупывая овечью шерсть и пробуя творог да сметану. О. Панкратия можно было видеть в городе на ярмарке торгующим или меняющим лошадей, договаривающим целую партию косарей с громадильницами[2], ссыпающим зерно из своих мешков в хлебные склады.

Все он любил делать сам, и на все у него хватало энергии и здоровья. Теперь ему было уже под шестьдесят, но старческие болезни еще не пришли к этому бодрому, цветущему старику, у которого и седых волос-то было немного. Скинув рясу и каким-то особенным способом пришилив кверху полы кафтана, о. Панкратий властно ходил по городскому базару в своих высоких сапогах и меховой шапке, переходя от торговца к торговцу, раз узнавая цены и заключая сделки. В таком виде можно было застать его и в самой задней комнате трактира, куда он прошел через хозяйское помещение («чтобы не было соблазна»), в компании хлебного, молочного или

шерстяного торговца, где уговаривались и писали условия. И никто не дивился его духовному кафтану в столь неподходящей обстановке, потому что к этому все привыкли давно.

О. Антоний вошел в обширный двор о. Панкратия. Сани благочинного стояли посреди двора, лошадей не было видно — их отвели в конюшню. По двору, с середины которого снег был сметен в одну кучу, бродили куры, гуси, утки и вместе с ними свиньи; два огромных пса, при виде его, гневно зарычали и с лаем кинулись к нему, но тотчас узнали в нем своего человека и принялись вилять хвостами и лизать ему руки. Дом выходил во двор широким и длинным закрытым крыльцом. Сюда вошел о. Антоний. Здесь, на небольшом дубовом столике, приготавливала закуску старая экономка о. Панкратия, какая-то дальняя его родственница. Рыбец — розовый, мясистый и жирный — лежал уже на тарелке готовый; нарезывался балык, чистился лук, и тут же лежали крупные маслины.

— Доброго здоровья, Аксинья Мелентьевна! — сказал о. Антоний, кивнув ей несколько

раз головой, и начал выделывать трепака на постланной у входа рогоже, стараясь отряхнуть снег от сапог.

— Гу-у-мм... — кисло протянула Аксинья Мелентьевна и, бросив на стол вилку и нож, обеими руками ухватилась за левую щеку. — Затворяйте двери, отец Антоний, а то холодом так и несет... У меня зубы!..

О. Антоний поспешил притворить дверь.

— Отца благочинного можно повидать? — спросил он ласковым голосом.

— Вы не поверите, как я страдаю зубами! — сказала ему в ответ Аксинья Мелентьевна. — И что ни делала, ничего не помогает! Такое страдание! Иной раз думаешь, если б только не грех, руки на себя наложила бы! Ей-богу!

— А вы бы ладану положили. Вы не пробовали ладану? Очень помогает! — посоветовал о. Антоний.

— От ладану зуб крошится, я пробовала. А как здоровье вашей супруги, отец Антопий, Натальи Парфентьевны? все хворает, а?

— Хворает, бедняга, уж не знаю, чем и облегчить ее...

— Ах, отец Антоний, это не приведи бог, когда хозяйка в постели! Не приведи бог. У вас ведь детей куча!.. А как она, на грудь не жалуется?

— Бывает... Ломит у нее в груди и тоже задышка бывает...

— Гм... Знаете, что я думаю, отец Антоний? Вы не обидьтесь, а только я думаю, что у нее чахотка... У меня муж от чахотки помер и тоже вот так все маялся — года три.

О. Антоний посмотрел на нее большими, испуганными глазами.

— Что это вы, господь с вами, какое слово сказали? И как это у вас язык повернулся... Господи ты боже мой!.. — И он даже перекрестился. — Можно, что ли, в комнаты, к отцу благочинному?

— Идите, идите!.. Они там с отцом Панкратием.

И Аксинья Мелентьевна вытерла рукавом слезы, которые были вызваны едким запахом лука, но о. Антония этот жест потряс еще больше, — ему показалось, что она уже оплакивает его бедную Натоньку.

О. Антоний вошел в залу, в которой не ока-

залось ни души, и прошел в гостиную. Здесь, в мягких креслах, за круглым столом, сидели две характерные духовные фигуры, к которым теперь прибавилась не менее характерная третья фигура о. Антония.

С первого же взгляда о. Панкратий производил впечатление человека крепкого, энергичного, подвижного и самостоятельного. Среднего роста, коренастый, он далеко не был худ, — у него было даже маленькое брюшко и слегка раздутые щеки, но по всем признакам эти придатки, обозначавшие хорошее питание, довольную и спокойную жизнь, нисколько не обременяли его. Большие и в то же время быстрые глаза с острым, пронизательным взглядом смотрели уверенно, без малейшей тени беспокойства и заискиванья перед начальством; движения его были просты, спокойны, как у тороватого хозяина, которому приятно принять почтенного гостя в тепле, в хорошей обстановке, с приличною закуской и выпивкой. Своим видом, манерой говорить и держаться он как бы ежеминутно повторял: я тебя принимаю с уважением, это так, потому что ты благочинный и, следовательно, неко-

горяя спица в колеснице, но помни, что я в тебе не особенно нуждаюсь, и ежели чуть что, мне наплевать, потому что у меня своих сто тысяч в банке!

Лицо у о. Панкратия было волосатое, суровое и смуглое, да вдобавок еще от постоянного нахождения среди хозяйства сильно загорелое. На голове тоже было много волос, но волосы эти лежали смиренно, не топорщились и спокойно ниспадали до плеч, а когда о. Панкратию надо было хлопотать по делам, заплетались в косу и прятались под шапку. О. Панкратий принимал гостя в кафтане, не считая нужным облачаться в рясу.

Совсем другое впечатление производил благочинный. Состоя в родстве с самим архиереем, он получил это назначение, так сказать, не по летам. Совсем еще молоденький, с маленькою бородкой и недлинными, но кудрявыми волосами, он был одет необыкновенно чистенько и складно; узкие рукава его светленького кафтана так аккуратно охватывали белую, некрупную руку, точно созданную для того, чтоб ее целовали, и пуговицы на этих рукавах и на шее были такие миниатюрные.

турные, голубенькие, и так умеренно мягко скрипели его сапоги, и сам он был такой мягкий, деликатный и, если можно так сказать, ко всему и ко всем любовный. Казалось, что этот человек с добрыми голубыми глазами, с ясным симпатичным лицом, обрамленным золотисто-русою, как бы еще молодою растительностью, не способен никого обидеть, да, может быть, это так и было. Говорил он хорошим литературным языком, который звучал очень странно наряду с тою смесью литературного, славянского и малороссийского, посредством которой выражал свои мысли о. Панкратий. Все знали, что молодой благочинный, приехавший вместе с архиереем из какой-то северной губернии, имеет непосредственный доступ к владыке, и, разумеется, ценили это.

— А, отец дьякон! — с приятельскою улыбкой встретил он о. Антония, — а я собирался было к вам завернуть. Очень рад с вами познакомиться!

Он подал о. Антонию руку и светским образом пожал его руку. Он вообще считал себя светским человеком и говорил, что только

благодаря настойчивому требованию архiereя сделался духовным.

— Садись-ка, отче Антоние! — сказал о. Панкратий, ногой подвигая ему стул.

Он всегда называл дьякона на «ты», за исключением только тех случаев, когда был недоволен им. На это ему давала право разность возрастов, да еще и то, что он очень доброжелательно относился к о. Антонию и знал его еще мальчишкой.

Оба они смотрели на о. Антония снизу вверх, потому что наш герой отличался необыкновенно большим ростом. Если принять во внимание, что он был при этом чрезвычайно тонок, держался всегда прямо и что на его тонкой и длинной шее была посажена маленькая головка с целою кучей темных, густых кудрей, торчавших как-то кверху, да взять еще безусое и безбородое лицо с мелкими, почти детскими чертами, то станет ясно, что о. Антоний в самом деле представлял своеобразную фигуру.

Он сел, откашлялся и сказал своим нежным тенорком:

— А я увидал, как вы мимо наших окон

проехали, ну, и тово... взял да и пришел вот...
Не усидел... Беспокоюсь очень!

— Это вы по поводу вашей просьбы?

— Да, уж конечно... Насчет чего больше, отец благочинный?

— Я виделся с преосвященным и говорил с ним... Не могу сказать, чтоб он был очень расположен...

— Не расположен? — каким-то беззвучным голосом спросил о. Антоний. — Так, значит, не расположен... — повторил он уже для самого себя.

— У него, у преосвященного, странный характер, — продолжал благочинный, — вообразите, что он вас любит!

— Любит?! — тоном горького скептицизма промолвил о. Антоний.

— Да, представьте себе, какой странный характер! Когда я сказал ему о вашем желании и доложил ваше прошение, он промолвил: «А, этот длинный? Знаю, знаю, он славный малый и небезграмотный человек! Знаю». — «Как же, говорю, ваше преосвященство, он школой церковноприходской занимается, сам все устроил и отлично, говорю,

дело ведет, за недосугом настоятеля!» Я должен был это сказать, — прибавил благочинный, обратившись к о. Панкратию, на что тот кивнул головой в знак того, что ничего не имеет против. — Да-с, так это я говорю. А он: «Вот видишь, видишь? Я всегда на него надеялся... Этот длинный всегда мне нравился...» Ну, я думаю, значит, дело в шляпе! Ан не тут-то было. «А все-таки, — говорит, — я его священником не сделаю...»

— Что же так? — спросил о. Антоний все с тою же горечью в голосе, так как от объяснения ему никак не могло сделаться легче.

— Да представьте себе, в чем причина. Он, говорит, в тон попадать не умеет. Когда, говорит, я служил в Предтеченском монастыре и он, то есть вы, отец Антоний, был вторым дьяконом, так он, — говорит преосвященный, — никак в тон не попадал. Певчие в фа, а он в соль-бемоль, и такая, говорит, резня выходила, что хоть уши затыкай... Было это или нет, скажите, пожалуйста?

— Это было, отец благочинный! Но разве я виноват? Я никогда не служил с архиереем, а меня поставили прямо вторым дьяконом, и

хоть бы репетицию какую-нибудь сделали, а то прямо — одевай стихарь и служи. Понятно, я оробел. Где ж тут в тон попадать! Так это ж совсем особь статья. А так вообще устав я знаю как свои пять пальцев, и сам владыка меня экзаменовал...

— Вот, вот, он и вспомнил. Он, говорит, и устав хорошо знает, и вообще владыка вас любит, и священником сделает, только надо повременить. Вот он и сказал: «Пускай, — говорит, — в тон попадать научится. Он еще молодой человек»...

— Эх, эх, эх, эх! — вставил до сих пор молчавший о. Панкратий. — Хорошо ему рассуждать, коли у него детей нет, а вот как у отца Антония их шестеро, так не то что в тон не попадешь, а и рясу наизнанку иной раз наденешь.

— Да, если бы не дети! — со вздохом промолвил о. Антоний, — если бы не дети!..

Разговор на этом оборвался. Принесли закуску и водку. О. Панкратий сейчас же вошел в роль хозяина и начал предлагать благочинному и дьякону выпить и закусить. Благочинный объявил, что голоден, и принялся за рыб-

ца, а о. Антоний отказался и с какою-то грустью следил за челюстями благочинного, теми самыми челюстями, которые только что сообщили ему такую неприятную вестъ, а теперь работают над рыбцом.

— Знаете, что я вам скажу? — обратился о. Панкратий к обоим. — По-моему, все это чепуха, ей-богу — чепуха! Я так полагаю, что если бы секретарь консистории[3] захотел, да шепнул бы архиерею то, другое, третье, так все это дымом разлетелось бы. Так я полагаю.

— Н-не думаю! — сказал благочинный, но таким неуверенным тоном, что очевидно, он именно так и думал.

— А я так даже уверен. Вы меня извините, отец благочинный, вы человек еще молодой и этого знать не можете. А я-то знаю, и даже очень хорошо знаю! Необходимо надо к секретарю съездить, по, разумеется, съездить умеючи...

— Чего не знаю, о том умолчу, — дипломатически заметил благочинный и, выпив третью рюмку, сделал естественный переход от рыбца к сардинам.

— А я вам прямо говорю и не скрываю, что

вот так точно я маялся, когда просил для сына место в Духовке[4]. Чего только не говорил архиерей: и молод, и неопытен, и легкомыслен — это сынок-то мой... А я взял да поехал к секретарю. Так и так, мол, рассказал дело, к вашему влиянию прибегаю, а чтобы вы как-нибудь не позабыли, изложил в письменной форме и вот в сем конверте имею честь представить. Он не дурак и сейчас же понял, и конверта при мне не распечатал. Хорошо, — говорит, — мы посмотрим. Ну, ладно, думаю, мне только и надо, чтобы ты посмотрел, а уж там что дальше будет — известно. И что же вы думаете? Послезавтра прихожу: уж доклад сделан и революция готова: назначить!

Благочинный считал своим долгом не поддерживать подобный разговор и до сих пор делал вид, что даже не слушает. Но как раз в это время выпил четвертую, и язык его сам, против его воли, завертелся и спросил:

— А много дали?

— Этого не скажу. Всякий по своим средствам дает. Одно могу сказать, что я переплатил. Он за дешевле это сделал бы. Ведь ловкий человек этот секретарь! У, ловкий, я вам

скажу! Вот я двадцать лет бьюсь, собственными руками, ногами и головой работаю, а в результате каких-нибудь шестьдесят тысконок (о. Панкратий никогда никому не объявлял действительной суммы), а он, секретарь, за двенадцать лет двеститысячный дом нажил! Разве не ловкий?

— Да, я вам доложу, отец Панкратий, я лучше знаю! — вдруг заговорил благочинный, утративший всякую волю над своим языком. — Два студента семинарии метили на одно место — хорошее место. Пришел один к нему и оставил пакет, а через час пришел другой и также оставил пакет. Он принял оба, а место-то дал, разумеется, одному. А штука-то в том, что один дал двести, а другой триста; ну, этому последнему и место досталось.

— А двести возвратил?

— И не думал! Ха. Даже и не подумал!

— Да чего же архиерей смотрит?

— Архиерей? — продолжал благочинный уже веселым тоном. — Архиерей много ли может видеть? Тоже ведь надо войти в его положение! Он наблюдает наш мир греховный или у себя в приемной, когда сей мир являет-

ся в качестве просителя, и уж конечно в самом благочестивом виде, или из окна кареты, когда мир мелькает перед ним, а он его благословляет, или на парадном обеде, когда мир является во фраке и большею частью со звездой, или, наконец, когда он по епархии ездит и его встречают чистенькие, принарядившиеся духовные лица... А жизнь-то настоящую, мирскую жизнь, архиереям трудно видеть.

— Правда, отец благочинный, истинная правда! — о убеждении сказал о. Панкратий, а дьякон только глубоко вздохнул.

— Да, разумеется, правда! Да знаете ли, кто мне это сказал? Сам архиерей, ей-богу, сам сказал. Он так имепно думает. «И ничего, говорит, мы не можем против этого зла поделать, потому такое наше положение. Когда бы мы, — говорит, — были мирские люди, то и мир могли бы знать», — вот что он сказал, архиерей-то!..

Тут о. благочинный почувствовал, что он начинает говорить лишнее, и мгновенно замолчал. Как ни упрашивал его о. Панкратий выпить пятую рюмку, он не согласился,

О. Антоний поднялся.

— Что же, отец благочинный, по вашему мнению, мне теперь делать? — спросил он, кротко смотря со своей высоты в веселые глаза благочинного. Тот ничего не ответил, а только развел руками и сделал мину недоумения и неведения.

— Да что же делать? — ответил за него о. Папкра-тий. — Одно — ехать в город и побывать у секретаря. Так и сделайте, отец Антоний!

О. Антоний не выразил своего мнения по поводу этого совета, попрощался и вышел. «Вот она справедливость-то! — думал он дорогой. — Школу, говорит, устроил и устав знает, и все такое, а только в тон не попадает... Шестеро детей, ведь господи ты, боже мой! Ваше преосвященство, вонмите!

Гм... Поезжай к секретарю! Да с чем же ехать? Разве он поймет, ежели я ему скажу, что у меня шестеро детей и жена больная? Где там! Ведь он, наверное, каменный, все они там каменные.

А что я Натоньке скажу? Ведь она ждет, бедняжечка, не дождется, чтобы радостную весть получить, а тут на тебе! Ох, горе мое, го-

ре, что я ей скажу, бедняжке? Правду сказать невозможно — расстроится, заплачет, жизнь проклинать начнет...

Грубая баба эта Аксинья, без всякой деликатности. Что ей в голову пришло? У Натоньки чахотка!.. С чего? Господи боже мой, как людям ничего не стоит жестокое слово сказать! И как прямо! Грубая баба, и только».

Он решил во всяком случае правды не говорить Натоньке.

Ребятишки вертелись около самой церковной ограды. Они возвели из снега огромнейшую бабу, и Василько, чтобы укрепить голову на плечах, взбирался на табурет, вынесенный из дому. Только Маринка отсутствовала; оказалось, что она в кухне укачивает Сашу.

О. Антоний снял рясу в кухне и, стряхнув сапоги, подошел к печке, в которой лениво горел кизяковый кирпич домашнего изготовления. Здесь он хорошенько обогрелся и только тогда решил войти в комнату.

Натонька дремала, но сейчас же при его входе открыла глаза.

— Что же сказал благочинный? — спросила она. Очевидно, все это время она только об

этом и думала.

— Да ничего, Натонька, ничего такого... Архиерей, говорит, к вам благосклонен.

— Значит, сделает?

— А разумеется, сделает... Только, говорит, чуточку повременить надобно... Ну... тово... чтобы, то есть, сам себя ему лично показал... Повидать желает...

— Архиерей-то?

— Ну, да, архиерей, а то кто же больше?

— Экие чудеса! Что он, не видал тебя, что ли, не нагяделся?

— Должно быть, что не нагяделся, Натонька... Да пускай смотрит, коли ему хочется, не убудет меня от этого...

И о. Антоний, чтобы окончательно разве-селить Натоньку, рассыпался мелким смешком доброй, дружеской шутки. А на душе у него в это время была страшная горечь. С чем поедет он? Ни занять негде, ни продать нечего. Разве клячу свою единственную да корову? Что же за них дадут! В конце зимы, когда корм у всех на исходе и вдвое вздорожал, дадут гроши. Да и как оставить семейство без молока и лошаденки? Нет, из этого ничего не

выйдет, и он только напрасно обнадеживает Натоньку. Но Натонька торопилась.

— Коли надо показаться, то поезжай немедля. Надо ковать железо, пока горячо.

— Ладно, ладно, Натонька, я и поеду! Вот только из Тягинки сестру Дуню вытребую.

И он, решительно не зная, с какими шансами поедет и что будет делать в городе, сел и написал Дуне, чтобы скорее приезжала. Больше всего на свете он боялся теперь, чтобы Натонька не раздражалась, не начала бы проклипать жизнь и говорить жестокие слова.

Село Бутищево было большое, но бестолковое соло. Люди здесь размножались быстро и лепили хату к хате, а больше землянку к землянке, но почему они именно здесь селились, а не на другом, более удобном месте, этого они и сами не знали. Земли у бутищевцев было мало, раздробили ее на кусочки, и никого уже не могла она прокормить. В прежние времена речка кормила, бутищевцы забрасывали сети и ловили окуней, судаков и карпов, но лет пятнадцать тому назад, когда имение от коренного владельца Бутищева перешло к купившему его мещанину Скрыдлову, вдруг оказалось, что речка, со всею ее рыбой и с окружающими ее камышами, принадлежит ему, Скрыдлову, и стал он за право поймать окуня и срезать сноп камыша брать страшные деньги. Тогда мужики сжались на своих раздробленных наделах, живя впроголодь и расширяя пределы Бутищевки новыми землянками. Довольно сказать, что даже кабатчик Иесей нашел для себя невыгодным пускать дальнейшие корни в Бутищевке и, по

здравым размышлениям, перенес свое «заведение» за десять верст, на хутор Чиркин, где было всего десятка три хат, но зато хат богатых, где жили мужички хлебосольные, пьющие водку большими порциями. Таким образом, ко всем бедам бутищевцев прибавилась еще новая: надо было бегать за водкой десять верст, что, разумеется, нисколько не отрезвило бутищевцев. Некоторые даже находили, что так лучше. «Оно даже довольно приятно — с проходкой!»

Но большинство сожалело о перенесении «заведения» на Чиркин хутор. Ведь это было единственное веселое место в Бутищевке, и без него как-то сумрачно жить стало. Многие даже вступали в переговоры с Иесеем, уговаривая его вернуться, но из этого никакой пользы не вышло, ибо Иесею действовал не зря, а на основании политико-экономического закона — спроса и предложения. В Чиркине хуторе был большой спрос на водку, вот он и понес туда свое предложение. При таком положении дела, само собою разумеется, в Бутищевке не было ни одного благодетеля, у которого о. Антоний мог бы перехватить что-

нибудь для своего путешествия. О новом помещике, мещанине Скрыдлове, нельзя было и думать. Он только и делал, что ходил да придумывал, что бы еще превратить в копейки, и очень скорбел, что все уже, до последней камышинки, превращено и больше превращать нечего. Оставалось о. Антонию одно: пойти к о. Панкратию и просить у него займы. Ведь все-таки о. Панкратий знает его и должен иметь к нему доверие.

Это было дня через четыре после свидания с благочинным. Снег стаял, и по всему видно было, что больше уж его не выпадет. Река покрылась водой поверх льда, и обыватели не решались не только ездить, но и ходить по ней, — лед стал хрупок. Конец февраля принес с собою теплые лучи почти весеннего солнца. Кое-где из-под земли вылезла ранняя травка, птицы защебетали бойчей. О. Антоний сказал Натоньке, что понесет метрическую книгу настоятелю, но в действительности дело было не в книге, и он чувствовал, что совершает великий шаг. Ежели о. Панкратий откажет, то и все дело пропало: больше не у кого просить. Были, однако ж, некоторые

предзнаменования, которые он считал для себя благоприятными.

Вчера только у о. Панкратия был хлебный скупщик Авдей Дракин и закупил у него всю прошлогоднюю пшеницу. О. Панкратий должен быть рад и тому, что продал хлеб, и тому, что стойко выдержал и дождался хорошей цены. А главное — он получил задаток и, следовательно, никак не может сказать, что денег при себе нет.

Ввиду таких добрых предзнаменований о. Антоний и отправился к настоятелю. Это было в воскресенье, после обедни. О. Панкратий пил чай и принял его ласково.

— Чайку не хочешь ли, отец дьякон?

— Нет, пил уже, спасибо! Я к вам по делу, отец Панкратий.

— По делу, так дело и говори, а я буду слушать.

— Да все о том же, отец Панкратий, о моей судьбе...

— Гм... что же я могу поделать в твоей судьбе? Когда бы я был архиерей, так верь, что я тебя соборным протопопом сделал бы.

— Нет, я насчет вот чего: вы тогда сказали:

поезжай к секретарю! А к секретарю с пустыми руками ехать нельзя...

— А это уж само собою разумеется. Что ж, ему визит твой нужен, что ли?

— Я ж это самое и говорю. А у меня ничего нет...

— А коли ничего нет, тогда и таскаться нечего! — чрезвычайно резонным топом заключил о. Панкратий.

«Не понимает», — подумал дьякон, и в эту минуту он уже, собственно говоря, почувствовал, что толку от о. Панкратия никакого не добьется. Но надо было идти до конца.

— А я думал... — начал было о. Антоний, но ему показалось, что он не так начал, и он остановился.

— Что же ты думал, отец Антоний? — спросил хозяин, но и в этом вопросе, и в лице, и в глазах его дьякон опять-таки не прочитал ничего, подающего надежду. А о. Панкратий взял да еще прибавил: — Ты думал, должно быть, что деньги тебе с неба свалятся? Так на небе, брат, и денег-то вовсе нет...

— Нет, я хотел попросить вас... Может, вы смилостивились бы и дали бы мне заимооб-

разно... А я бы постом великим поправился и отдал бы...

— Нету, брат, у меня денег! — коротко сказал о. Панкратий и больше никаких объяснений этому обстоятельству не дал.

— Нету? — печально переспросил о. Антоний и тоже замолк. Его всегда поражало и он никак понять не мог, как это люди умеют просто отказывать.

Деньги у него в кармане лежат, вчера только получил, свеженькие, и все это знают, и сам он этого не скрывает, даже хвастался перед церковным старостой: вот, мол, денежки получил; покрепился зиму с хлебом и целую тысячу на том выиграл, а он, нимало не смущаясь, говорит: нету денег. Будь у него, у о. Антония, в кармане деньги и попроси у него кто-нибудь, и, положим, он почему-либо не хотел бы дать, так он путался бы полчаса, деликатно извиняясь, объясняясь, а, в конце концов, надо полагать, все-таки дал бы. Но что скажешь на «нет»? — ничего. Надежда, значит, разлетелась, как дым. И теперь о. Антоний ясно видел, что надеяться не имел никакого основания. Разве он не знал, что у о.

Панкратия правило — никому займы не давать? Бывали случаи, что мужик перед ним в ноги надал, плакал, прося дать ему тридцать рублей на лошадь, — ему пахать было нечем, — обещал отработать, но о. Панкратий отвечал одно: нету денег! Это у него был такой принцип. Дело в том, что о. Панкратий, при своем обширном деле, которое во всяком случае было некоторым уклонением от церковнослужительских обычаев, избегал всего, что могло набросить на него дурную тень. Его богатство доставило ему множество завистников и врагов. Малейший повод раздули бы и сделали бы из него ростовщика и кулака. Поэтому он поставил себе за правило раз навсегда: никому денег ни под каким видом не давать, а отвозить их в банк, где им спокойнее лежать.

О. Антоний знал все это, но думал, что для него, как для сослуживца, о. Панкратий сделает исключение. После довольно продолжительного молчания о. Панкратий сказал:

— Ты вот что, дьякон, обратись ты к моей дочке, Марьяне Панкратьевне, у нее подчас случаются деньги... может, и даст!..

— Марьяна Панкратьевна? — спросил о. Антоний, — Крутые они очень, Марьяна Панкратьевна.

— Ну, уж это, брат, не мое дело... Это уж там как знаешь... может, она для тебя помягче будет... Попробуй! Да вот, коли хочешь, и сейчас можно. Она как раз идет сюда.

Действительно, из залы вошла в столовую Марьяна Панкратьевна. На ней был клетчатый длинный капот, сильно заношенный и засаленный, и сидел-то он на ней как чужой или словно был сшит, когда она была потолще и поокругленнее. Может быть, это так и было, потому что Марьяна Панкратьевна, проводившая скучную одинокую жизнь при отце, знала лучшие дни, когда она и телом, должно быть, была поплотней, и лицом веселей. На вид ей можно было дать все сорок, тогда как в действительности ей было на целых пять лет меньше. Это была то, что называется — сухая женщина. С своими длинными руками, болтавшимися в широких рукавах, с тонкими пальцами, со впалою грудью, со скуластым смугло-желтым лицом, с жидкими подстриженными волосами, она действи-

тельно производила впечатление высохшей. Марьяна Панкратьевна была вдова; муж ее, священник, умер, прожив с нею три года и не оставив ей детей. Со смертью его она стала быстро стареть и сохнуть. Конечно, она ничего не имела против того, чтобы еще раз выйти замуж, и ей, разумеется, ради богатства о. Панкратия, делали не одно предложение. Но идеалом ее, прочно засевшим в ее голове, был священник. «Нет уж, — говорила она искателям ее руки, — чтобы я после попадьи да стала чиновницей либо купчихой? Это все одно, как ежели б генерала в солдаты разжаловать». Такого высокого мнения была она о своем звании. Между тем кандидатам в священники, как известно, на вдовах жениться нельзя. И Марьяна Панкратьевна отказывала всем искателям. Очень может быть, что теперь она была бы менее разборчивою и решилась бы изменить своему идеалу. Но к ней уже не сватались, и она привыкла считать себя вечною вдовицей. Жила она совсем особняком, в отдельном флигеле, и в дела о. Панкратия вовсе не вмешивалась.

У нее было свое собственное дело, именно

три тысячи рублей, оставшихся после смерти мужа из приданого: она их деятельно развивала и теперь владела уже капиталом тысяч в пятнадцать. Дорогу к ее флигелю хорошо знали бутищевские мужики, которые очень редко уходили от нее обиженными.

— Вот, Марьяна, отец дьякон имеет к тебе какое-то дело! — сказал о. Панкратий. — Я не успел расспросить его, да он тебе объяснит...

Сказав это, о. Панкратий вышел, прошел залу, и затем шаги его замолкли в кабинете.

О. Антоний поклонился, и так как ему не протянули руки, то этим и ограничился. Марьяна свысока смотрела на причетников и не подавала руки состоящим в сана ниже священнического.

— Что вам? — сурово спросила она.

— Мне? мне... тово... денег бы достать надо бы... Случай такой, Марьяна Панкратьевна... очень трудный случай...

— Денег? у меня? А что ж вы у отца не взяли?

— Отец Панкратий говорит, что у них нету!

— Ну, у меня, положим, есть...

— Есть? — радостно спросил о. Антоний, как будто это было все равно, что ему дали.

— Есть, да только вам невыгодно будет.

— Мое такое положение, что всяко будет выгодно... очень трудное положение.

— А сколько бы вы хотели?

— Да я бы... тово... рубликов полтора ста всего! — О. Антоний до сих пор о цифре еще не думал и сказал эту сумму нечаянно, но он тут же определил: «Сто рублей секретарю суну, а пятьдесят на расходы. Еще Натоньке шелковый платок куплю, а ребятам гостинцы».

— Невыгодно вам будет, отец Антоний! Даже жалко мне вас, так невыгодно!

— Да сколько же, Марьяна Панкратьевна? — Он уже весь проникся нетерпением и в душе решил: «Сколько бы ни содрала — возьму! Ежели священником сделают, легко будет отдать!»

— Нынче у нас двадцать восьмой февраль? Так двадцать восьмого марта отдадите. Возьмете полтора ста, а принесете двести. А кроме того запродажную на озимый хлеб...

— Как на озимый хлеб? — воскликнул о.

Антоний.

— Да вы сеяли озимую?

— Сеял, семь десятин посеял...

— Ну, вот вы мне такую бумажку напишите, будто вы мне запродали жатву, что, значит, вырастет. Это на всякий случай... Мне оно не нужно. Сами знаете, я хлебом не занимаюсь.

Смотрел на нее о. Антоний и дивился, что могут на свете существовать такие женщины. «И это еще попадья и священническая дочь! — думал он. — В епархиальном училище образование получила. Господи ты, боже мой!» Впрочем, удивление о. Антония происходило больше оттого, что это случилось с ним. Он поневоле вникнул в это явление. Но и раньше он знал, что Марьяна мужикам не даром раздавала деньги. Даст одному десять карбованцев весной, а на Покрову двадцать берет. Но мужик, как обладатель собственной земли, казался ей более прочным, поэтому она не требовала у него обеспечения. А дьякона каждую минуту могут согнать с места, перевести в другой приход, и поминай, как звали.

Недолго думал о. Антоний. Да что и думать, коли нужно до зарезу? И он сказал:

— Так позвольте уж сейчас получить, Марьяна Панкратьевна.

— Значит, вы согласны?

— Согласен!

— Тяжеленько вам будет! Жаль мне вас!

— Что делать? Случай трудный, очень трудный случай, Марьяна Панкратьевна.

Как ни безобразны были условия этого займа, все-таки о. Антоний боялся, чтобы она не раздумала и не отказала бы, поэтому страшно торопился. Ведь от этих денег зависела его судьба.

Но Марьяна не имела в виду мучить его. Через четверть часа он был уже дома. Натонька встала с постели. В этот день она чувствовала себя хорошо. О. Антоний старался говорить с нею спокойно и резонно, но в груди его kloкотала радость, которой так и хотелось вырваться наружу. Полтора ста рублей были у него в кармане, и он чувствовал себя так, как будто его сделали уже священником и дали ему самостоятельный приход.

— Когда б скорее Дуняша приезжала! Надо

в город ехать! — повторял он и в самом деле часто выходил на дорогу и смотрел, не едет ли Дуняша. Но вот по грязной дороге, по которой ручьями лились весопиие воды, показалась мужицкая повозка, вся забрызганная жидкою грязью. В передке, свесив ноги на воздух, так что они поминутно касались задних ног лошади, сидел мужик, а за его спиной, на сиденье из соломы, покрытой ряденцем, помещалась Дуняша. Это была рослая и стройная девушка с молодым, цветущим лицом, с звонким голосом и живыми движениями. Приехав, она тотчас же начала приводить в порядок хозяйство о. Антония. Лишенная всякого образования, эта девушка отлично постигла хозяйство и не могла ни минуты просидеть без дела.

Братья, — их было четверо и все неудачники, не выше дьякона, — считали счастьем, когда она к ним приезжала. Она и с детьми возилась, и на кухне орудовала, и коров доила, и шила, — словом, это была «золотая девушка», — таков был единодушный отзыв о ней всех четверых братьев. Ей было всего двадцать лет, случалось немало женихов, но она

не спешила замуж, зная себе цену и ценя также девическую свободу. «Я себе вольная пташка, — говорила она, — от брата к брату, словно мотылек, порхаю; а там пойдут дети, придут болезни, и прощай веселье. Насмотрелась я довольно на эту жизнь. Успеется еще». С ее приездом дом о. Антония оживился, повеселел, и даже Натонька как будто снисходительнее стала смотреть на мир божий.

— Вот спасибо тебе, Дуняша, что приехала, — говорил о. Антоний, — я сегодня же укачу в город.

— Сделай милость! Без тебя обойдемся! — шутила Дуняша.

О. Антоний действительно в тот же день собрался и укатил в город. Дорога была пре-скверная. Худая кляча то и дело спотыкалась и падала в глубокие свежеравмытые лужи. О. Антоний был весь серый от грязи. Ехалось больше шагом, и пришлось прошлепать всю ночь. Места те таковы, что на расстоянии сорока верст не встретишь ни одной хаты. Только под городом, когда уже зарозовела заря, начались поселки и пошли все гуще и гуще, пока не слились с самым городом. Город был

велик и буквально плавал в грязи. Улицы, скверно вымощенные каким-то каменным сбродом, были сплошь покрыты жидкою грязью, которая блестела, как сталь, и маскировала щедро рассыпанные по мостовой рытвины и ухабы, благодаря которым на каждом шагу экипажи неожиданно принимали почти вертикальное положение, а лошади становились на дыбы. Пешеходы, когда собирались перейти улицу, примерялись с таким видом и делали такие ухищрения, будто хотели броситься вплавь. Все было мокро, сыро и грязно, и люди, деятельно копошившиеся в этом болоте, казались терпеливо несущими какое-то наказание.

О. Антоний заехал сперва на постоянный двор. Было еще рано по городскому счету — семь часов. Притом надо было почиститься и привести себя в порядок. Секретарь встает, вероятно, часов в восемь, а в десять идет на службу. Вот между этими часами и можно посетить его. О. Антоний напился чаю, который после ночной поездки показался ему необыкновенно вкусным, и достал бумагу и конверт. На бумаге он написал прошение о производ-

стве его в священники и, бережно сложив ее, втиснул в самую середину цельную сторублевку и все это вместе положил в конверт. Все это он делал удивительно смело и уверенно, вероятно потому, что был в номере постоянного двора и один. При этом он еще вспомнил рассказ о Панкратия и благочинного, и это ободрило его. Ему казалось теперь это простым делом, и он ни на минуту не сомневался, что сделает все как следует, т. е. как рассказал о Панкратий. В девять часов он уже был в передней секретаря.

— Как же сказать об вас, батюшка? — спрашивала его какая-то старуха, не то экономка, не то монашенка, не то сама секретарша.

— Да как-нибудь... Все одно... они меня не знают! По своему делу, скажите!

— Известно, не по чужому! — сказала старуха и ушла куда-то в мрак длинного и узкого коридора.

Но о. Антоний ее даже не слышал. Он слышал только собственный голос, который показался ему чужим — до такой степени этот голос был робок и тонок. И ничего такого пугающего он не встретил здесь. Передняя была

как у всех: два стула, стол, вешалка, зеркало. В полураскрытую дверь он видел в зале мягкую мебель в серых чехлах, угол какого-то инструмента вроде фисгармонии. Старуха тоже не представляла ничего необыкновенного, — словом, все было так, как у людей. Но о. Антония охватила робость невероятная. Должно быть, это происходило оттого, что в кармане у него лежал большой конверт с прощением, в котором была сторублевка. Какова-то еще будет судьба этой сторублевки? Может, вывезет, а может, и навеки погубит. Старуха опять появилась из мрака и пригласила его за собой. Ему тоже пришлось пройти мрачный коридор, затем повернуть налево, открыть дверь и вдруг совершенно неожиданно очутиться в кабинете секретаря. Кабинет был очень мал, с низеньким потолком, с небольшими двумя окнами, выходившими на двор, с неуклюжим письменным столом, зеленое сукно которого истерлось и было покрыто чернильными пятнами. В углу на низеньком столике стояло множество образов, и перед самым большим из них теплилась лампада. В комнате пахло гарью от лампады, которая мигала и трещала.

Квартира была наемная, и ничто не свидетельствовало, что у секретаря есть дом в двести тысяч. Да, это был он. О. Антоний видел его раза два в консистории и сейчас же узнал. Громадная фигура с большою, седою головой, лицо совсем бритое и все, не исключая лба и ушей, красное, как у человека, только что выдержавшего хорошую баню; в длинном черном сюртуке, широкоплечий, порядочно сутуловатый, он всегда обдавал просителей каким-то холодом, сухостью, неприветливостью. Казалось, что ему было все равно до всех людей на свете, и он скорбел только об одном, что его потревожили. Он стоял неподалеку от двери и как-то вполоборота, точно собираясь плюнуть куда-то в сторону. Из-под густых нависших бровей смотрели большие бычачьи, совершенно холодные глаза. О. Антоний поклонился по-монашески, т. е. в пояс.

— Как ваша фамилия? — спросил хозяин каким-то мальчишеским голосом, совсем не соответствовавшим его внешности. От такой крупной фигуры ожидалось нечто вроде грома. А он еще гнусил, растягивая слова, произнося гласные немного на э и в нос. Губы его

сложились в презрительную мину, словно он заранее уже презирал ту фамилию, которую ему скажут.

— Дьякон села Бутищевки, Антоний...

— Бубырко! — закончил за него хозяин и свободным жестом указал ему на стул, а сам тяжелыми шагами подошел к креслу и сел. Сел и о. Антоний.

— Точно... Бубырко! Я... отец благочинный... то есть... тово... Подавал уже один раз... тово...

— Знаю! — прогнусил хозяин.

— А владыко написал... рано, мол, написал владыко...

— Знаю! — повторил хозяин и все время смотрел на о. Антония в упор своими неподвижными глазами.

— А у меня шестеро детишек... И школу я... тово... устроил школу... и устав...

— Знаю! — еще раз подтвердил хозяин.

О. Антоний перевел дух и издал глубокий вздох. Этот упорный взгляд, как бы подстерегавший его, следивший за каждым его движением, просто потрясал его. О. Антонию казалось, что рука его не осмелится залезть в кар-

ман и вынуть оттуда заветный конверт.

— Теперь я к вашей помощи прибегаю... Одна надежда на вас, — продолжал он, и рука его вдруг очутилась около кармана. Но, поигравши там пальцами, она вдруг ушла обратно и легла на колене.

— Что ж, ежели владыко... — начал было секретарь, но о. Антоний перебил его:

— Прощение вам я приготовил и осмелюсь подать...

— Прощение? Это пожалуй... Не мешает!..

Рука, контролируемая упорным взглядом хозяина, точно боявшегося, чтобы она не ошиблась, быстро всунулась в карман и вытащила оттуда конверт, который своим измятым и скомканным видом навел ужас на о. Антония.

— Конверт... тово... измялся! — сказал он, судорожно сжимая конверт дрожащею рукой. Шаг, который он должен был сейчас сделать, был именно такого рода шаг, что мог и осчастливить, и погубить. А что, если о. Панкратий и благочинный рассказали ему сказки, подшутили над ним?

— Ничего, разгладим! — ответил хозяин,

сосредоточивая свой взгляд на конверте.

— Так вот... благоволите... тово... принять... прошение.

Он положил конверт на письменный стол и сейчас же быстро поднялся и начал кланяться. Секретарь между тем взял конверт и как-то небрежно, точно ненужную вещь, отстранил его на середину стола. Но о. Антоний уже был в передней. Никогда еще в жизни он не торопился так, как теперь. Ему мерещилось, что там, в кабинете, секретарь открыл конверт, из которого вывалилась сторублевка. Секретарь побледнел и весь затрясся. Он ринулся в переднюю и кричит ужасным прерывающимся голосом: «Как ты смел? Мне? Секретарю? Ты? Дьякон? А? Оскорбление? Владыке, в синод! [5] Рясу долой! В монастырь, на эпитимию!» [6]

«О господи, спаси и помилуй! — мысленно воскликнул о. Антоний, залезая правою ногой в левую калошу. — Что я наделал! Что я наделал! Погубил детей, Натоньку погубил!»

Ему казалось это неизбежным: секретарь должен обидеться. Как это можно? Такое лицо, такой пост, и вдруг ему — взятку. Да это

ужасно! Зачем ему? У него хорошее жалованье.

Вот он на лестнице, уже внизу, отворяет дверь, но никакой погони за ним нет. Вдохнув полною грудью свежий влажный воздух, он немного успокоился и даже решил подождать минуты две: уж ежели погибать, так сию минуту. Чего ждать? Пусть уж разом. Он оглянулся на дверь секретарской квартиры; она была неподвижна и молчалива.

Наконец, совершенно придя в себя, он понял, что никакой погони за ним не будет, что конверт с его содержимым пришелся как нельзя более по душе секретарю и что, по всей вероятности, надо так считать, что его дело в шляпе. Придя к такому приятному убеждению, он решил, что весь этот день ему следует как можно дальше держаться и от консистории, и от архиерейского дома. Не ровен час, попадешься на глаза архиерею и все дело испортишь. Но целый день надо было как-нибудь скоротать. Он побывал и на базаре, где нашел немало бутищевских мужиков, и на постоялом дворе, где пробовал заснуть, но не мог, потому что ему мешало волнение.

В губернском городе у него немало было знакомых среди причта городских церквей, но он боялся даже встретиться с ними. Сейчас пойдут расспросы, зачем да почему, а он не выдержит, расскажет, что приехал проситься в священники; ну, разумеется, тот с насмешкой, другой с завистью, третий с предостережением. Бог с ними, лучше не нарушать мирное течение жизни! Ему не спалось оттого, что грудь его вся была наполнена ожиданием. Но за счастливый исход своего дела он не боялся. Секретарь — сила; ежели он принял и ничего не сказал, то, значит, сделает. Все-таки о. Антоний нашел нужным побывать у благочинного. Он не имел в виду ни о чем просить его, а только засвидетельствовать ему свое почтение. Благочинный к нему расположен, хлопотал за него у архиерея, надо же человеку показать, что помнишь это и ценишь.

Благочинный о. Иоанн Велелепов жил таким же веселеньким домком, каков был и сам. Все у него глядело приветливо — и чистенькая лестница, и просторный стеклянный коридор с массою растений, и небольшие, уютные, залитые светом комнаты с весе-

лыми светлыми обоями, и множество мягкой мебели, обитой розовым и голубым атласом, и хорошенькая горничная, и приветливая жена, и ласковые дети, — словом, приятно было войти в этот дом и провести здесь час-другой. По-видимому, здесь не делали разницы между гостем важным и простым.

— А! отец Антоний приехал! Милости просим! Жена, Анюта, отец Антоний приехал! Знаешь, из Бутищевки дьякон! А ну-ка, чаю там, что ли! Хотите чаю, отец Антоний, с вареньем? Ну, как здоровье вашей супруги? Отец Панкратий как поживает? Все делами занимается, а? А вот это моя старшая дочь! Не бойся, Нюра, подойди, это отец Антоний из Бутищевки; он добрый, он не кусается...

И вышла матушка, вышли дети, дали чай, варенье, и о. Антоний чувствовал себя как в своем кругу. О. Иоанн жил как светский человек. Ничто в его обстановке не напоминало о том, что он духовное лицо, да притом еще стоящее на такой стезе, что недалеко и от кафедрального протоиерея. В кабинете на стенах не красовались виды афонской горы[7] или доморощенные гравюры; висели только

географические карты и какой-то маленький пейзаж в черной рамке. В стеклянном шкапу стояли солидные переплеты с надписями: «Шлоссер», «Бокль»[8], «Шиллер», «Пушкин», «Тургенев» и тому подобными надписями, значения которых о. Антоний не понимал. В зале стояло фортепиано, матушка играла вальс, дети вертелись.

О. Антония оставили обедать. Стесняемый присутствием матушки и детей, он никак не мог улучить минуту, чтобы рассказать благочинному о своем визите секретарю. Между тем ему ужасно хотелось поделиться с кем-нибудь своею удачей. Но после обеда выпала такая минута. Они сидели в кабинете. Благочинный сладостно протянул ноги на мягкой кушетке и потягивал сигару. О. Антонию тоже была предложена сигара, но он отказался. Он не умел курить сигары, а курил претолстые папиросы, которые крутил собственноручно и вставлял в длинный мундштук из обыкновенного бутищевского камыша.

— А я, отец благочинный, был у секретаря! — сказал о. Антоний.

— Ага, все по тому же делу?

— Все по тому же... Просил о содействии, и он обещал. Суровый человек он... Видно, очень строг в своей должности.

— Не знаю; я консистории не касаюсь. Владыко хотел назначить меня членом, но я отклонил! Бог с ними! Там интриги всякие...

— А я таки, отец благочинный, конверт ему оставил... с прощением, хе, хе, хе!.. — промолвил о. Антоний, понизив голос и даже оглянувшись на дверь.

— Представьте себе, что если я после обеда не выкурю сигары, так все равно что и не обедал!.. — сказал благочинный.

— Привычка! — заметил гость и в то же время не без тревожного удивления подумал: «Я ему про конверт, а он про сигару!»

В это время в зале раздались звуки фортепиано. О. Антоний продолжал:

— Дал это я ему, а он этак рукой отстранил на средину стола и говорит: «Это, говорит, хорошо...»

— Ты бы, Анюта, что-нибудь из Мендельсона сыграла, — крикнул благочинный жене и сейчас же обратился к гостю: — Я очень люблю Мендельсона; это мой любимый компози-

тор. Вот слушайте, слушайте... Романс без слов...[9]

О. Антоний должен был слушать и, уж конечно, больше не возобновлял разговора ни о секретаре, ни о конверте.

Он ушел на постоянный двор, когда уже стемнело и на улицах губернского города смрадно горели «фотоженные» фонари[10].

Он думал, разумеется, о том, как приятно будет завтра узнать в консистории радостную весть. Чего доброго, может быть, все совершится в этот приезд и он, к невыразимому восторгу Натоньки и Дуняши, приедет в Бутищево священником.

Думал он также о том, какие на свете бывают странные люди. Секретарь, например, если правда, что о нем говорят, владеет домом в двести тысяч, а берет с бедного человека сто рублей. А вот благочинный так даже слушать об этом не хочет! Противно ему, что ли, или из политичности вмешиваться не хочет? Кто их разберет? А как они живут! Какая разница! У одного все мрачно, тяжело, неприветливо, а у другого все так приятно, радостно, уютно. Хорошо, однако, быть секретарем,

недурно также быть и благочинным. И тот, и другой по-своему отлично живут. Скверно только быть дьяконом в плохом приходе, да еще на дьячковской вакансии, с шестью душами детей и с больною женой.

На другой день, в двенадцать часов дня, о. Антоний прогуливался по аллеям архиерейского сада. Они были посыпаны песком и плотно утрамбованы, и ходить по ним было хорошо. О. Антоний знал, что именно в это время секретарь бывает с докладом у архиерея, и выжидал, когда доклад кончится. Он мысленно переживал все перипетии этого доклада. Вот секретарь развернул его прошение и читает. «А! — говорит архиерей, — это тот, что в тон попадать не умеет? Я же сказал, что ему еще рано!» — «Ваше преосвященство! — отвечает секретарь, — если он тогда не попал в тон, то это единственно потому, что ему не было дано репетиции, но вообще он человек достойный и способный! У него шестеро детей, ваше преосвященство, и позволю себе поставить на вид вашему преосвященству...» И долго, долго говорит секретарь, говорит он страсть как умно, как о. Антонию, конечно, и

не вообразить, а архиерей все слушает. И чувствует он, архиерей, что секретарь его убедил и что дьякона Антония Бубырко нельзя не сделать священником, его непременно надо сделать священником. И говорит архиерей: «Ну, делать нечего! не хотел, а вижу, что надо! Ты убедил меня, секретарь! Давай перо!» — и берет архиерей перо и пишет: «Благословляю диакона Антония Бубырко рукоположить в сан священника». Секретарь складывает бумагу, кладет ее в портфель и идет в консисторию. На соборных часах пробило час дня. Надо дать время секретарю передать бумаги столоначальнику. Столоначальника он знает. Это древний человек, очень-очень древний, чуть ли не с основания консистории служит. Он такой же бритый, как и секретарь, только маленький и лысый и не мрачный, а, напротив, любезный и льстивый. Когда много лет тому назад был другой секретарь, который носил бакенбарды, то и он носил бакенбарды. Пожалуй, и ему придется что-нибудь дать.

На тех же соборных часах пробило половину второго. О. Антоний рассчитал, что теперь

все формальности копчены, к пошел в конси-
сторию. Столоначальник был углублен в сли-
чение какой-то копии с подлинным.

— Я сейчас, сейчас, повремените минутку,
батюшка, — сказал он с улыбкой. Улыбка у
него была некрасивая, потому что не было зу-
бов. О. Антоний ждал совершенно спокойно.
Никакого дурного предчувствия у него не бы-
ло.

— Дьякон Антоний Вубырко? — спросил
столоначальник. — Есть, есть. Вот ваше про-
шение-с!

Он взял со стола развернутое прошение и
поднес его к самому носу о. Антония. Дьякон
Антоний Вубырко прочитал написанное си-
ним карандашом рукою архиерея: «В тон по-
падать не научился, а посему несвоевремен-
но». А ниже стояло уже написанное рукою
секретаря и чернилами: «Отказать».

— И больше ничего-с! — прибавил все с
тою же улыбкой столоначальник и положил
прошение обратно на стол.

Как-то в одно мгновение все спуталось в
голове о. Антония. Глаза заволклись туманом,
и он не видел ни столоначальника, ни

писцов, ни стоявшего тут же какого-то дьячка, униженно кланявшегося и о чем-то слезно просившего. Что такое случилось? Натонька плачет. Дуняша ходит мрачная, как туча, чего даже никогда не бывало; Марьяна Панкратьевна требует деньги и говорит: «Тяжеленько вам, отец Антоний, жаль мне вас, отец Антоний», а веселый благочинный стоит где-то наверху, как бы в облаках, курит сигару и посмеивается! Но это был один только миг. О. Антоний сейчас же опомнился и подумал: «Мало!» И у него явилась дерзкая мысль — зайти к секретарю и при всех — при чиновниках, при членах консистории, при просителях спросить его: «Сколько вам надо доплатить, господин секретарь?» Но опять же от смелых мыслей, порой зарождающихся в голове деревенского дьякона, состоящего на дьячковской вакансии, до смелых поступков очень далеко. К секретарю он не пошел, а вышел вон и отправился на свой постоянный двор. И шел он, и выкатывал повозку, и запрягал в нее лошадь, и расплачивался с хозяином как-то бесчувственно. Ему даже было досадно, что он как будто не скорбит, не убивается, не думает

о Натоньке, о детях. Это было отчаяние выше меры. У него не было силы скорбеть. Только поздним вечером, когда уже до Бутищева оставалось верст десять, он вдруг воспрянул и шибко погнал лошаденку.

Неизвестно почему у него заболело сердце, забилось тревожно и что-то подгоняло его спешить.

Он приехал домой около полуночи, и прежде всего его поразило то, что в такую позднюю пору в доме светились огни.

Натонька лежала в жару. У нее был бред. Дуняша встретила его с заплаканными глазами. Детишки спали в другой комнате, но бледная Маринка в одной рубашоночке сидела у ног больной на постели и не сводила с нее испуганных глаз.

— Что с нею? — спросил о. Антоний.

— Тс... Иди сюда.

Дуняша схватила его за рукав рясы и потащила за собой в кухню. Здесь она положила руки и голову на стол и зарыдала.

— Антоша, Антоша, какой ты несчастный! — воскликнула она сквозь слезы.

— Несчастный по всем статьям!.. — прошептал отец Антоний.

Он предчувствовал то, что ему скажут, и это было до такой степени ужасно, что он не спрашивал.

— Сейчас, как ты уехал, она слегла, — говорила Дуняша, стараясь сдержать слезы. — Голову ей ломило, грудь камнем сдавливало, кашель, кашель, такой страшный кашель, и вдруг кровь пошла горлом... Мы испугались,

боже мой, как испугались!.. Ну, хоть за фершалом послали... Пришел, посмотрел... Господи ты боже мой! Отвел это он меня и говорит: «А знаете... а ведь у нее, у матушки, чахотка, и в очень большом градусе... Так похоже на то, как бы в последнем... И навряд, говорит, она больше нескольких дней проживет...» Антоша, Антоша!..

У о. Антония подкосились колени, и он как-то непроизвольно опустился на лавку. Он был бледен, как стена, но не плакал, а только нижняя губа его как-то бессильно вздрагивала, а глаза уставились на Дуняшу и пугали ее своим бессмысленным видом.

— А знаешь, — говорил он слабеньким, детским голосом и, чего никогда с ним не было, заикаясь, — и там не удалось... Сто рублей дал секретарю... У Марьяны взял... И ничего... В тон не попадает... в то-о-он...

Тут пришли слезы, и о. Антоний зарыдал страшно, громко и некрасиво, как баба. Дуняша подошла к нему и старалась утешить его, говорила, что еще неизвестно, что фельдшер ничего не понимает, но это не помогло. О. Антоний рыдал и безжалостно стучал головой

об стол.

— Ты ее потревожишь, — сказала Дуняша. Тогда он встал и начал ходить по земляному полу кухни, держась обеими руками за голову.

— Дуняша, Дуняша, что же это такое? Как же это... тово... как же мы будем? Детишки... шестеро... мал мала меньше... Господи, помилуй!.. — лепетал о. Антоний, бросая косые взгляды на темный, закоптелый образ, висевший в углу, как бы именно оттуда ожидая решения своего вопроса. Дуняша прислонилась головой к холодной стене и тихонько плакала.

Скрипнула дверь, и вошла Марья. Веселая и беззаботная, Марья теперь была бледна, и глаза ее тоже были красны.

— Вас, батюшка, просят, матушка просят вас!..

— Меня?!

О. Антоний снял рясу, всю забрызганную грязью, вымыл лицо, особенно тщательно промывая глаза, чтобы скрыть следы слез, причесал волосы и тихонько, на цыпочках, пошел в комнату. Всю свою небольшую силу

воли он употребил на то, чтобы сделать свой голос ровным, а лицо спокойным и даже веселым.

— Натонька! И что это ты вздумала, господи боже мой? Взяла да и тово... слегла... — любовным голосом промолвил он, целуя ее в горячий лоб.

— Умирать вздумала, Антоша. Видно, бог за грехи... — Она закашлялась и выплюнула кровь.

— Что ты, что ты, Натонька? Эк выдумала что! Еще поживем! Вот солнышко пригреет, встанешь...

Но о. Антоний чувствовал, что голос его говорил совсем не то, что говорили слова! Всего ужаснее было то, что он заикался и никак не мог избавиться от этого. Это его приводило в отчаяние, потому что выдавало его с головой.

— Пригреет, да не меня, — медленно покачивая головой, сказала Натонька. — Хоть бы детей-то моих оно ласково пригрело! Я уже это чувствую... И фершала видела, и Дуняшины слезы, и слышала, как ты сейчас голосил в кухне... Чувствую, Антоша, чувствую!.. Хочу поговорить с тобой. Как бы ты Маринку спать

унес, не место ей тут, не идет слушать...

— Мариночка, пойдём спатки! — промолвил о. Антоний, обращаясь к девочке.

Но Маринка крепко обеими ручонками ухватила за ноги матери.

— Нет, не пойду от мамы! Никуда не пойду... И в могилку с нею! — проговорила она каким-то необычайно убежденным, вразумительным голосом.

Из глаз Натоньки выкатились две слезы.

— Пускай останется! — прошептала она. — Присядь, Антоша, возьми стул и присядь.

О. Антоний покорно взял стул и присел у изголовья.

— Что в городе? Архиерей как? — спросила Натонька.

— Архиерей... ничего!.. Ничего, Натонька!..

— Антоша, ты не обманывай! Меня, может, завтра на свете не будет. Говори правду, — отказал?

— Отказал, Натонька! — совершенно убитым голосом проговорил о. Антоний и опустил голову.

— То-то! И как же он, совсем или так, на время? — продолжала допытывать она.

— На время, Натонька! Написал: несвое-
временно, потому в тон не попадает. В тон-то,
господи помилуй!

— Правду говоришь, Антоша?

— Правду, Натонька, как на исповеди!..

— А у нас шестеро, Антоша! Подрастут, чем
ты обучишь их? Шестеро!..

— Шестеро, Натонька!.. Шестеро!..

— Антон! — совсем тихо промолвила она,
чтоб не слышала Маринка, но девочка была
вся слух и не пропускала ни одного слова. — А
ежели я умру, ты вдовцом будешь?

— Господи ты, боже мой! — прошептал о.
Антоний.

— Вдовцом будешь, Антоша... А вдовца свя-
щенником сейчас не сделают... Нельзя... За-
кон такой... До сорока лет ждать, а там еще за-
хотят ли... Это ведь за особые заслуги толь-
ко... А какие у тебя, Антоша, заслуги?

О. Антоний встал, тяжело вздохнул, провел
рукой по лбу и опять сел.

— Да что же это, господи, господи? — шеп-
тали его губы, а рука сама поднималась и де-
лала крестное знамение.

— Малодушествовать нельзя, Антоша, а об-

судить надо!.. Шестеро ведь!.. Коли ты на всю жизнь дьяконом останешься, да и в такой бедности, как наша, детишки нищими будут... А за что? Чем они, бедные, виноваты?

— Что же поделаешь, коли воля господня?..

— А ежели я умру, ты на всю жизнь дьякон!

— Что же останется нам? Не придумаю, Натонька, нет... не могу придумать!

Голова о. Антония была действительно слишком слаба для того, чтобы разобраться во всей этой громадной куче горя. Он совсем потерял способность рассуждать, и ему казалось, что выхода нет и остается только примириться с судьбой. Натонька кашляла, и это еще больше потрясало его.

— Слушай, Антоша, не теряй времени... Пока я жива, ты еще не вдовец... Поезжай к преосвященному... Поезжай сейчас, сию минуту поезжай... Пади ему в ноги, облейся слезами и скажи все, как есть... скажи, что умираю, и тогда всему конец... сердце-то есть у архиерея... Поезжай...

Опять кашель, и еще раз говорит она задыхающимся голосом;

— Поезжай... Пади к ногам... А то завтра умру... Навеки дьякон...

— Натонька, Натонька!.. Что ты?.. Господи боже мой! Что ты говоришь?..

— Говорю — поезжай... Поезжай, Антоша!.. Шестеро их... Поезжай!..

— Как же я поеду, коли ты... Натонька, как же я поеду?..

— Поезжай... Умереть-то я и без тебя умру, коли бог прикажет. Поезжай сейчас!

— Натонька, не могу я, не могу!..

— Антон! Иди сюда!.. Ближе, ближе!.. Дай мне руку свою... Вот так! Жили мы с тобой восемь лет согласно, любовно, и ты меня слушался... А мне теперь умереть надо, а ты... ты не слушаешься... Ну, я же господом богом молю тебя, послушайся, поезжай... Антоша, голубчик мой! Последняя это моя просьба... Поезжай!.. Сердце мое чувствует, что сжалится архиерей... Непременно сжалится... Смотри, Маринка наша славная девочка, добрая, умная головка, так неужели ей без образования расти и по людям шататься?.. А все другие, все шестеро... Ну, перекрести меня... Поцелуй меня хорошенько и поезжай... Может, бог

даст, я дождусь тебя, и как отрадно мне будет умереть, коли все исполнится... Поезжай, Антон, голубчик...

О. Антоний с глубоким религиозным чувством, какого еще никогда в жизни не ощущал в груди своей, осенил ее три раза большим, медленным, вдумчивым крестом и поцеловал ее в губы. Потом он взял на руки Маринку и тоже перекрестил ее и поцеловал. Затем он повернулся к комнате, где спали дети, и осенил ее всю таким же большим крестом...

— Поеду, — сказал он глухим, но твердым голосом, — коли ты требуешь и сердце твое чувствует... Поеду! Горько мне будет... нестерпимо горько, а поеду, коли ты велишь, Натонька!..

Шаги его сделались твердыми и взгляд уверенным. Он весь проникся сознанием, что исполняет, быть может, последнюю волю Натоньки.

Он вышел в сени, потом во двор. Дуняша сидела на завалинке с поникшею головой. Марья возилась с коровой. Звезды уже погасли, и над селом расстилался бледный свет раннего утра. О. Антоний прошел в сарай, где

стояла лошаденка. Она была худа и имела по-пурый вид. «Не довезет, куда ей! Сейчас сорок верст сделала!» — подумал о. Антоний. При- том он сознавал, что ехать надо быстро. Сего- дня суббота. Если архиерей смилуетя, то зав- тра и рукоположит, а ежели опоздать, так придется ждать неделю, до следующей служ- бы, а мало ли что может случиться за неде- лью? Он вышел обратно во двор.

— Марья, — сказал он, — беги сейчас к поч- тарю и чтоб сию минуту пара лошадей мне была и дилижан... В город! Да только скажи, чтобы не привязывал колокольчика...

— Ты в город? — спросила Дуняша.

— В город, Дуняша; сама посылает...

— За доктором?

— Эх, Дуняша, что доктор? Доктор ничего не поможет... Фершал правду сказал. За один этот день она так подалась, бедняга, что на смерть похожа. И сама говорит — умру!..

— А в город зачем же?

— Такое дело, Дуняша, что и сам пе знаю, как будет... Уж лучше не спрашивай... Может, Натонька тебе скажет... Приказала ехать... Смотри, Дуняша, на тебя вся надежда... Бере-

ги ее... А в случае чего, не приведи господи... Завтра я приеду... Эх, горе мое, горе!..

Он ходил по двору, заглядывал в сарай, прошел к реке. Почтарь медлил. Уже совсем рассвело, когда к хате дьякона подъехал «дилижан», запряженный парой.

О. Антоний вошел в комнату, ударил три земных поклона к образам, стал на колени и прошептал молитву, потом обернулся к Натоньке и сказал:

— Еду, Натонька! Пусть будет по-твоему!

Она только одобрительно покачала головой. Он нагнулся, Натонька обвила его шею ослабевшими, холодными руками, прижала его голову к щеке и прошептала:

— Прощай, Антоша! Уж до твоего приезда я проживу! Силы есть!.. Так и знай...

Он вышел, шатаясь, влез в «дилижан» и быстро покатыл по мягкой, влажной дороге.

Сорок верст пути, когда у человека на душе столько горя, сомнений и недоумений, — это бесконечно долгая дорога.

Если бы он был один, он просто рыдал, и ему было бы легче. Но впереди сидел ямщик, бутищевский мужик Макар, хорошо знако-

мый о. Антонию. Макар был любопытен и в начале путешествия допытывался:

— Что это вам так приспичило, отец дьякон? Видно, дело какое важное! Прежде все на своей ездил, а тут вдруг на почтовых...

— Значит, надо! — отвечал о. Антоний.

— Мабуть, по службе что-нибудь? Архирей требует? — приставал Макар.

— Замолчи ты ради бога!.. Чего пристал? Не до тебя мне...

Макар почесал затылок и замолчал. А дьякону действительно было не до него и не до его вопросов. В голове его копошился целый рой мыслей, которые то углублялись куда-то в далекое прошедшее, то забегали в туманное и неизвестное будущее, то парили над диваном, на котором лежала больная Натонька. Припомнил он свою жизнь, припомнил и повторил ее всю с чувством и разумением, словно собирался принять великую исповедь.

Давнее то было время, и смутно помнится оно. Отец его был дьячком в селе, и множество у него было сыновей и дочерей. До десяти лет бегали они гурьбой в одних рубашонках, босиком по грязи и по солнцу, никто за

ними не смотрел, делали что хотели, знали то, что подмечали пытливым детским оком, знали многое, чего детям знать не следует и чего другие дети не знают. Отец сам учил их грамоте: «аз, буки, веди, глаголь, добро, зело», старик он был и учил по-старинному: букварь, часослов и, как высшая мудрость, Псалтырь — вот и вся наука. Сначала псалмы читались, потом псалмы учились наизусть, — дальше этого не могла пойти изобретательность старого дьячка, который сам ничего иного не знал, кроме книг церковного обихода. А в десять лет вдруг свезли в город и забросили в школу.

Школа эта была бурса, настоящая дореформенная бурса, которую Антоша застал при последнем издыхании, но тем не менее могучею и сильною всеми своими особенностями[11]. Вдруг ни с того ни с сего засадили его за латынь и греческий, втиснули в сложную махинацию аудиторов, секуторов[12], розог, линейек и т. п. страшных вещей, которые сразу запугали воображение дикого мальчика, привыкшего к свободе, к солнцу и простору деревенской улицы. Он ничего не понимал: ни

требований бурсацкой дисциплины, ни правил латинской грамматики, и его за это секли, драли за уши, за чуб, сажали в карцер, лупили линейками и корешками розог по ладоням — одним словом, «учили» разными способами, какие были в распоряжении старой бурсы. Когда Антоша вспоминает это время, он ничего не ощущает, кроме какой-то дикой боли, тупой, совершенно дурацкой, ни на чем не основанной обиды. Почему? за что? за какую вину? Ведь все били его, слабого, все — от инспектора до последнего лентяя, у которого были здоровые кулаки. На битье была основана вся наука и все воспитание. Но ему пришлось терпеть это только два года. Вдруг все от верху до низу переменялось. Все стали вежливы, деликатны, приехали новые учителя, которые говорили даже «вы», розги уничтожены, никого не бьют, никто не плачет. Но Антоша уже запуган, забит, огорошен, учится плохо и еле-еле перелезает из класса в класс, засиживаясь в каждом классе по два года и прочно присвоив себе кличку «осла». Кое-как дотянул он до семинарии, побыл в ней год, но дальше уже совсем пойти не мог и

оставил это, по-видимому, несвойственное ему занятие.

Старый дьяк был тогда еще жив. Антоше пошел двадцатый год. Был он уже вполне зрелый юноша, и нужно было думать, что с ним делать. Одна дорога — поступить в пономари, а потом в дьяки, да этим и закончить карьеру. Так многие и делали. Но тут помогло одно обстоятельство. В губернии не так давно умер некий протопресвитер, важное лицо, бывший благочинный и член консистории. Протопресвитер оставил весьма изрядное состояние и, между прочим, по духовному завещанию, учредил приют для сирот-девушек духовного звания. В приюте этом обучали грамоте, рукоделию и хозяйству, — одним словом, готовили жен для младшего причта, но так как основатель его был лицо почтенное, то приют сейчас же получил привилегию. Было объявлено, что всякий причетник, взявший себе в жены «приютку», тем самым приобретает право на немедленное производство в дьяконы. И Антоше пришлось воспользоваться этою привилегией. Вот как о. Антоний, когда его спрашивали об этом и когда он был

в хорошем расположении духа, рассказывал о своем сватовстве:

— Говорит мне батько; «Ну, сыночек, доучился, кончил курс, видно, что не хотел умнее своего родителя быть. Едем-ка в приют жениться, все же таки дьяконом будешь, дьяконский-то хлеб не бог знает как бел, а все же белее дьячковского». А я... мне что? Мне все одно. Ничего не понимал я тогда толком. Жениться так жениться... о женой что делать, известно, я понимал... Вот и повезли меня туда. Приехали это мы: я, мои родные и еще сват — один знакомый дьякон. Приехали и прямо в класс. Уж, конечно, они, то есть девицы-приютки, знали, что это жених приехал, вырядились в чистенькие платья, белые передники надели и сидят рядышком, душ их восемь было, иная шьет, иная вышивает... Входим мы; я, разумеется, позади семеню, потому, как хотите, странно как-то... Пришел человек неизвестно откуда и должен себе по-другу на всю жизнь выбрать. Я был тогда такой же высокий, как теперь. Прошлись мы по комнате раза два, а я все смотрю им в лица... Ну, как бы вам сказать, совершенно как товар

в лавке либо на базаре. Однако нельзя же даром так-то ходить, надо, чтобы какой-нибудь толк был. Вот мать моя и подходит ко мне и говорит: «Мой совет тебе, Антоша, вон ту взять, которая с русою косою за вышиваньем сидит». Но скажу я вам, что не нравилась мне русая коса, вот не знаю, почему, а не нравилась. А сидела этак в уголку смугленькая такая, худенькая да бледненькая; взглянул я на нее, и так мне жалко сделалось, что она такая себе заморенная, и сердце так и застучало... Ну, думаю, должно быть, это и есть судьба моя! И говорю матери: «Нет, говорю, не русая, а черная коса, вон та!» — и показал пальцем. А мать говорит: «Что ж, это твое дело, не мне с ней жить, а тебе». С тем мы и вышли. Сейчас пошли к отцу Исидору на закуску, — отец Исидор — тамошний священник и начальник приюта, — гляжу, и моя черная коса здесь, чай разливает: раскраснелась вся, вижу, в волнении. Нас познакомили. Тут я узнал, что зовут со Натальей Парфентьевной, и сию же минуту в душе своей в Натоньку ее перекрестил. Только пили это все чай, вдруг, смотрю, никого в комнате нет, все куда-то исчезли,

остался только я да Натонька, то есть тогда еще Наталья Парфентьевна. Сидит она на диване и в окошко глядит, словно и не обо мне думает. Понял я, что нас нарочно оставили, чтобы, значит, объясниться... Никогда в жизни этого со мной еще не бывало, чтобы я остался с девушкой глаз на глаз, а чтобы еще объясняться — так об этом я даже понятия не имел. И трепетало мое сердце, струсил я, то есть, как следует быть. Однако что же делать-то? Все одно — надо. Приехал жениться, так надо жениться. Подошел и говорю: «Наталья Парфентьевна! вам ведь все хорошо известно, и объясняться тут нечего. Желаю, говорю, иметь вас женою своей, и в дьяконский сан, говорю, преосвященнейший владыка меня рукоположить обещал, и даже место есть в селе Бутищевом, хотя на дьячковской вакансии». А она глаза опустила: «Мне, говорит, известно... я согласна!» Тут я даже ручку у ней поцеловал. На другой день обвенчались, а там и во дьякона производство получил.

Так рассказывал о. Антоний, когда бывал в хорошем расположении духа, но теперь, разумеется, он вспоминал это иначе. Вспоминал

он с нежностью, но горечью полна была его душа. Пришлись они с Натонькой друг другу по душе, словно и в самом деле были друг для друга созданы. Пошли у них дети один за другим, «без удержу», как говорила сама Натонька, и с каждым новым ребенком росла их бедность. Натонька всегда была хилая, болезненная, но все была на ногах, а только в последние два года стала сваливаться. О. Антоний был образцовым причетником, и архиерей благоволил к нему, и у него были все шансы на то, чтобы быть произведенным в священники. Тут опять-таки должно было помочь то обстоятельство, что Натонька была «приютка». Но вдруг случилась эта история с непопаданием в тон, и надежда его осеклась. Вспомнил о. Антоний, какую хорошую жизнь прожил он с Натонькой, как лелеял мечту, что вот, наконец, придет время, когда он получит священнический приход, Натонька поправится и заживут они на славу. И вдруг нежданно-негаданно такое горе.

Едет он в город, Натонька послала его. Может быть, выпадет счастье, архиерей сжалится, но какое же это счастье, когда Натоньке

оно не достанется? Да и сам он, — что он такое будет без Натоньки? Ведь жизнь-то еще долга: ему только 28 лет. И эта долгая предстоящая жизнь показалась ему какою-то темною, холодною могилой.

Когда он думал о том, что делается теперь там, дома, то сердце его обливалось кровью и холод сковывал все его тело. Что же это он делает? Натонька умирает там, и в самом деле умирает, он в этом убедился, а он едет хлопотать о каком-то повышении. Да ведь это ужасно — думать о повышении в такие минуты, когда любимый, самый дорогой человек умирает...

А шестеро? Ведь шестеро их... Ведь стоит только пропустить момент, и вдруг, по воле божией, сделаешься вдовцом, и на всю жизнь бедняк, и дети — нищие.

Вот и город, опять этот грязный город, который вчера выгнал его своею черствостью, своею несправедливостью. Опять он въезжает в него в качестве смиренного просителя, но совсем с другими чувствами. О. Антоний вынул часы и взглянул: около двенадцати. Как раз в это время у архиерея прием проси-

телей.

— Живо, живо поезжай к архиерейскому дому! — крикнул он Макару.

Макар хлестнул по лошадям. Они въехали в глубокую грязь городской улицы, и жидкие брызги посыпались на них от лошадиных ног. Когда дилижан остановился у ворот архиерейского дома и о. Антоний сошел на землю, Макар сказал ему:

— Э, отец дьякон, как же вы пойдете к архиерею, коли вы весь серый от грязи?.. И ряса, и лицо, и волосы, все в грязи!..

Но о. Антоний не обратил внимания на это замечание. Он только провел рукавом по лбу и размазал грязь на лице и почти бегом пустился к заветной двери, которая вела в архиерейские покои.

IV

В обширной приемной архиерея, с несколькими твердыми стульями у стен, с портретами митрополитов и важных чинов духовного ведомства на стенах, было душ десять народу. Большею частью это были духовные особы разных рангов; все они принарядились, каждый по мере своих сил, примазали волосы елеем, опять-таки различного достоинства — кто с запахом розового масла, а кто прямо от лампадки, — причесались и стояли посреди приемной полукругом. Архиерей еще не выходил, но ожидался с минуты на минуту. Уже молодой, краснощекий келейник взглянул раза три и подсчитал просителей. У архиерея был с докладом кто-то из более почтенных особ, допускаемых во внутренние покои. Просители уже давно подтянулись и придали своим лицам смиренно-благочестивое выражение. В это время в передней слышался странный разговор, никогда, может быть, не бывавший в этих молчаливых покоех, привыкших к хождению на цыпочках и к беседе вполголоса.

— Позвольте, батюшка, так невозможно!.. Сперва надо келейнику сказать... — говорил швейцар.

— Нет, нет, мне прямо преосвященного надо, самого преосвященного... — отвечал о дрожью и заиканием взволнованный тенорок.

— Да притом надобно сапоги вытереть, батюшка, и опять же пообчиститься... этак невозможно... все полы загадите! — убедительно заявил швейцар.

— Нет, нет, ничего, ничего... Я так, мне не до того... я так!..

Слышно было даже, как будто кто-то кому-то оказывал сопротивление.

— Нельзя же, батюшка!

— Отойди!

— Да вам же хуже будет!

— Мне и так худо, хуже не будет... Пусти!..

— Как угодно.

И благочестивое выражение лиц просителей вдруг сменилось крайним недоумением. В приемную, вырвавшись от швейцара, бежал о. Антоний, таща на огромных сапогах по фунту грязи, с замазанным лицом, с растрепанными волосами.

— Преосвященнейший владыко не выходил еще? — спросил о. Антоний опять-таки громче, чем это полагается.

— Нет, не выходил! — ответили присутствовавшие, о изумлении и вместе со страхом осматривая просителя, осмелившегося войти в таком небрежном виде.

На шум вышел келейник и, увидев о. Антония, подбежал к нему:

— Что вы, что вы, батюшка? Разве можно в таком виде?

О. Антоний посмотрел на него с овоей высоты глубоко презрительным взглядом.

— Отойди, бога ради! — промолвил он таким голосом и с таким выражением, что келейник действительно отошел, даже отскочил от него и только пожал плечами. В это время из внутренних покоев вышел благочинный, о. Иоанн, с бумагами в руках. Он-то и был на докладе. Увидев о. Антония, он подошел к нему.

— Отец дьякон? Как вы решились?

— Решился, отец благочинный!

— Вы навеки испортите свое дело.

— Ах, отец благочинный, хуже не будет, ху-

же не будет... — пролепетал о. Аптопий.

Благочинный отвел его в сторону и тихонько оказал!

— Надеюсь, что вы никаких посторонних личностей не замешаете.

О. Антоний понял, в чем дело. Благочинный вообразил, что он пришел жаловаться на секретаря за взятку.

— Ах, не о том, отец благочинный, не о том! Вот какое горе! — промолвил он, прижимая кулак к груди.

— О чем же?

Но в это время вышел сам преосвященный, Высокий, плотный старик, в темно-синей шелковой рясе, с длинного круглою бородой, с шелковистыми седыми волосами, о строгим выражении лица, он производил внушительное впечатление. На докладе он почти не говорил, а только выслушивал и принимал к сведению. Он обладал удивительною памятью, все запоминал и потом решал в своем кабинете.

— Кто здесь шумел? — спросил прежде всего архиерей. Но вместо ответа послышался стук бегущих ног, и кто-то со всего размаха

бросился ему в ноги и схватил его колени.

— Ваше преосвященство, ваше преосвященство! Это я... это горе, горе мое шумело!.. Великое горе, ваше преосвященство...

Первое движение архиерея было — отступить. Лицо его покраснело и сделалось гневным. Но когда он увидел, что человек, испачканный грязью, есть не кто иной, как дьякон Антоний Бубырко, когда он услышал его надорванный голос и заикающуюся, прерывистую речь, он смягчился и промолвил:

— В чем же твое горе? Встань, диакон!

— Горе небывалое!.. Горе... ваше преосвященство... жена у меня... Господи, боже ты мой!.. Умирает... Умирает, ваше преосвященство...

Но тут уже ничего нельзя было разобрать из того, что говорил о. Антоний, потому что он начал горько рыдать.

Архиерей сначала подумал, что ему делать с этим человеком, а потом, видя, что он ничего от него не добьется, обратился к благочинному:

— Отец благочинный! допроси, пожалуйста! Чего он хочет от меня?

— Пойдемте, отец дьякон! — сказал благочинный, взяв его за рукав рясы.

О. Антоний поднялся с пола и покорно пошел за благочинным. Они вошли в маленькую, низенькую дверь и остановились в миниатюрной комнате, где стояли мраморный умывальник и зеркало. Благочинный начал с того, что покачал головой:

— Как можно так, отец дьякон? Трудно ли разгневать преосвященного?

— Себя не помню, отец благочинный... Такое горе, такое горе!.. Натонька, жена моя, в чахотке умирает... Господи ты, боже мой! Не сегодня-завтра я вдовец, и тогда уже все пропало... Вечный дьякон, отец благочинный!.. А у меня шестеро... Что я с ними буду делать? Сама послала, бедняжечка... умирает, а послала... Ради детей, говорит... я, говорит, и без тебя умру... а может, преосвященный сжалится... Подумайте, отец благочинный, какое мое положение!.. Жена умирает, а я здесь... Может, умерла уже, а я... я тут... отец благочинный!

И вдруг, неожиданно для благочинного, он упал на колени и, рыдая, умоляюще протянул

к нему руки. Благочинный всячески успокаивал его и утешал.

— Погодите, вот владыко кончит прием, мы ему доложим! Посидите здесь смирно, а я уже сам ему объясню. Будете сидеть смирно?

— Буду, отец благочинный! — твердо сказал о. Антоний и сел на стул с высокою спинкой. Он сидел так минут двадцать и ни о чем в это время не думал. Уже прием у архиерея кончился, и благочинный доложил ему, что мог, про о. Антония. Архиерей велел, позвать его к себе.

Когда о. Антоний шел обратно в приемную, он чувств вовал, что в груди его как бы остыло что-то, еще недавно сжигавшее его пламенем. Ноги его как-то деревянно шагали, руки висели беспомощно, голова была пуста, и никаких слов не находил он, чтобы сказать архиерею. «Перегорело, — думал он, — все горе во мне перегорело!» И теперь он боялся архиерея, как всегда, как боялись его и те десять душ, что стояли раньше в приемной.

В приемной были только архиерей, благочинный и келейник. О. Антоний стоял перед лицом владыки и дрожал.

— А что, — сказал архиерей, — ежели жена твоя умерла, и ты уже вдовец?

— На все воля божья, — покорно ответил о. Антоний.

— Так-то так, но ты просишь священства, а священство, как сам знаешь, вдовцам до сорокалетнего возраста не дается...

— Знаю, ваше преосвященство!

— Так как же с этим быть? Ведь отвечать перед богом придется!

— Ваше преосвященство! Ответим! Шестеро детишек!.. Они вымолят!..

Архиерей задумался и несколько раз прошелся по комнате взад и вперед.

— А может, жена твоя еще и проживет!.. — говорил он, как бы рассуждая вслух. — Действительно жаль мне тебя, жаль... Ты достоин. И шестеро, говоришь, шестеро? Все маленькие, а? каша? а? Гм... И как это вы торопитесь детей плодить... Ну, диакон, — промолвил он, остановившись, — уж ради шестерых-то твоих примем грех! Готовься на завтра.

— Ваше преосвященство! — вырвалось из груди о. Антония; он хотел было протянуть

руки, но в этот момент у него закружилась голова и силы его оставили. Благочинный и келейник едва успели поддержать его.

— Ишь, какой бедненький, — сочувственно сказал архиерей и покачал головой. — Надо его ободрить. Насчет жены-то его... Что ж, может, бог и продлит ее дни, а не то... Ну, что ж... На все его воля! — прибавил он, обратившись к благочинному и келейнику, и ушел к себе в кабинет очень расстроенный. «Ведь вот жизнь-то какова и какие дает коллизии, — думал архиерей, с волнением прохаживаясь по кабинету и нервно шевеля четками, — а мы то, власть над этою серою массой имущие, сидим в своих покоях и ничего этого не знаем. О жизни судим по докладам, да по прошениям, да по представлениям консистории. Я его промучить захотел за то, что в тон попадать не умеет, это был мой каприз, а у него вон какое грандиозное горе и какая тягостная задача». И в эту минуту архиерею, потрясенному только что происшедшею сценой и настроенному на добрые чувства, захотелось воочию увидеть, как живет подчиненное ему духовенство, что чувствует и какое горе пере-

живает каждый из этих смиренных дьяконов, дьячков и пономарей, обремененных семействами и всю жизнь мечтающих о повышении.

О. Антония привели в чувство, и он медленно побрел с архиерейского двора. Он но в силах был теперь ни радоваться, ни скорбеть. Его несильный ум никак не мог сколько-нибудь привести в систему все те разнообразные ощущения, которые пришлось испытать ему в течение последних суток. Страх перед подачей пакета секретарю, светлая надежда после принятия этого пакета, ласковый прием у благочинного, разочарование в консистории, отчаяние при виде умирающей Натоньки, борьба между любовью к ней и необходимостью уехать ради детей, сцена у архиерея и это счастье, которое должно совершиться завтра, — все это следовало одно за другим, нисколько одно из другого не вытекающая, спутывало его мысли и чувства. Страшное горе — потерю жены — он должен был переживать вместе с величайшим счастьем — достижением священнического сана. В самом деле это было какое-то почти сверхъесте-

ственное совмещение двух противоположных чувств. Нет большего горя для лица,носящего духовный сан, как потеря жены, да еще любимой, какою была Натонька для о. Антония. Ведь это — вечное одиночество, вечный холод холостой жизни среди живущего полною жизнью мира, среди житейских соблазнов и требований строгой морали, сопряженных с званием. С другой стороны, священничество — это высший идеал, к какому может стремиться причетник, и, следовательно, высшее счастье. И вот и то, и другое разом упало на голову о. Антония. Одно только он ясно чувствовал — что он в этот момент преступник перед Натонькой. Она умирает, и так еще самоотверженно, думая лишь о будущем его и детей, она, быть может, теперь переживает страшные мучения, а он здесь делает карьеру, готовится к повышению. И как ни старался о. Антоний, никак не мог он примирить в душе своей эти разнообразные ощущения. Поэтому во всю остальную часть этого дня, весь вечер, который он провел в церкви, безуспешно стараясь слушать вечерню, так как нужно было готовиться к завтрашнему собы-

тию, всю ночь, совершенно бессонную, утро следующего дня и даже во время обедни, когда совершалось его рукоположение, он находился в каком-то тупом состоянии безразличия, бесчувственности. Сердце у него нестерпимо болело, лицо было бледно, и глаза, глубоко впавшие в орбиты, горели тусклым огнем. Даже архиерей обратил внимание на его недобрую внешность и, стоя в алтаре, сказал ему тихо: «Ободришь, Антоний, не думай о земном! Помни, какой сан принимаешь!»

Но о. Антоний не ободрился, а все так же бесчувственно и угрюмо достоял всю обедню до конца. По окончании обедни он улучил минуту и подошел к архиерею.

— Ваше преосвященство! — сказал он, скрестив ладони и этим самым прося благословения, — благословите отправиться домой! А вам за ваше благодеяние отплатит бог!

Тон, которым он говорил, дышал глубокою печалью и какою-то безнадежною покорностью судьбе.

— Поезжай, отец Антоний, поезжай! Твое дело особенное! — сказал архиерей, благословляя его большим крестом.

О. Антоний поспешно снимал облачение, это новое для него священническое облачение, одно ощущение которого, при других обстоятельствах, доставило бы ему массу счастья.

Теперь было не до того. Он торопился, его тянуло, толкало вон из церкви на почтовую станцию, где он неотступно требовал лошадей сейчас, сию минуту, да чтобы были быстрые и сильные, чтобы мчались без остановки и без отдыха. Ничего не видя перед собой и не слыша того, что говорили ему почтарь и ямщик, он садился в дилижан и умолял ямщика ехать скорее. Ямщик попался бравый, о. Антоний не пожалел ему двух рублей на водку, и он безжалостно хлестал лошадей, а лошади были горячи и мчались напропалую, не обращая внимания на грязь и ямы по дороге.

Вот уже вдали виднеется узкая полоса бутищевской речки, потом начинает вырисовываться церковь, дом нового помещика Скрыдлова; выплывают одна за другой хаты и землянки. О. Антоний старается разглядеть свою хату, но не видит ее, а между тем ему кажется, что если бы он увидел хоть один угол сво-

ей хаты, то понял бы все. Мысли его начинают быстро перегонять одна другую. но ему мерещится мрачная картина смерти: Натонька лежит на столе, худая, желтая и холодная; детишки прячутся по углам и испуганно молчат, только одна Маринка, бледная умница, Натонькина любимица, с бесконечно грустной задумчивостью смотрит на мать своими большими глазами... Дуняша плачет и поглядывает в оконце, не едет ли он... Сердце его разрывается на части. То вдруг ему все это кажется невозможным, неестественным, диким. С какой стати? Почему так скоро? Натонька еще может поправиться и прожить многие годы. И какова же будет ее радость, когда она узнает, что он вернулся священником! И он уже совершенно уверен, что это именно так и есть, что иначе и быть не может, и торопит ямщика единственно для того, чтобы поскорее обрадовать Натоньку. Да, если она жива, то одна эта радость может вылечить ее от самой тяжелой болезни! Ведь священник он, приход дадут, достаток будет, детей воспитают они, боже мой, боже мой!..

Они поравнялись с домом помещика

Скрыдлова, минули сад, ряд землянок. Уже он видит свой ток; из-за стога соломы выглядывает камышовая крыша хаты. Дуняша бежит ему навстречу... С чем она? С какой вестью? Не выдержит он, сердце разорвется.

— Стой!

Лошади с разгону остановились; он выскочил из дилижана. Дуняша припала головой к его груди и рыдает...

— Натонька? — спрашивает он диким, плачущим голосом.

— Кончилась, Антоша!.. В эту ночь!.. Как ты уехал, лучше стало... Думала, полегчало... А вдруг как хлынет кровь горлом-то... ничем не удержать... задушило ее, бедняжечку... А перед этим тебя вспоминала... Последнее ее слово было: помоги ему бог достигнуть священства!..

— И бог помог мне... Помог... А ей-то, ей, голубушке, нет, не помог... Его святая воля! — бормотал о. Антоний, ломая руки от отчаяния и глядя на Дуняшу совершенно потерянным взором.

Он вошел в дом медленной, неровной походкой человека, разбитого вконец. Увидев

Натоньку, лежащую на столе, прикрытую до половины парчой, с венком из помертвевших цветов, с четырьмя свечами у изголовья, желтую и высохшую от муки, он припал к холодным рукам, сложенным на груди, и долго-долго безмолвно и без слез молил ее простить его за то, что он мало о ней думал, и за то, что он теперь без нее будет пользоваться преимуществом только сегодня полученного сана.

В комнате было душ двадцать народу, больше деревенские бабы, но были тут и Марьяна Панкратьевна, и Аксинья Мелентьевна, и пономарша, а когда о. Антоний поднял голову, которая казалась ему свинцовой, в хату вошел о. Панкратий и с ним старый пономарь, неся в руках облачение и кадило.

— Совершим литию соборне![13] — каким-то торжественным голосом промолвил о. Антоний.

— Совершим! — сказал о. Панкратий и начал облачаться в ризу.

Пономарь подал о. Антонию стихарь, но тот отрицательно покачал головой.

— Ризу... Нынче рукоположен... Ох, Натонька, только тебе и досталось, что лития

моя! — проговорил он сквозь слезы глубоко убитым голосом.

Дети пугливо выглядывали из другой комнаты, а Маринка в самом деле стояла около матери и с бесконечною, недетскою грустью смотрела на нее своими большими глазами.

Сторож сбегал в церковь и принес о. Антонию ризу. Все с удивлением смотрели на то, как он надевал ее. Из кадила поднялся дым ладана. Началась лития...

КОММЕНТАРИИ

При отборе произведений для настоящего издания в него прежде всего были включены произведения, в той или иной степени одобренные А. П. Чеховым. Публикуются также рассказы, небольшие повести, сатирические миниатюры, которые хотя и не получили чеховских отзывов, но являются вещами характерными для творчества автора, запечатлевшими быт и нравы эпохи. Из-за ограниченного объема сборника пришлось отказаться от включения многих вполне заслуживающих того произведений, как, например, от талантливых романов М. И. Альбова «Ряса», И. Н. Потапенко «Не герой» и др.

Отбор произведений потребовал просмотра множества отдельных изданий, собраний сочинений, комплектов газет и журналов. Неизученность творчества большинства включенных в двухтомник писателей составила особую сложность для установления первой публикации отдельных произведений. В связи с этим в комментариях указываются в основном только те источники, по ко-

торым печатаются тексты. Тексты печатаются по последнему прижизненному изданию.

Краткие справки о писателях содержат сведения об их жизненном и творческом пути, оценки современной им критики, а также информацию относительно их связей с А. П. Чеховым.

И. Н. ПОТАПЕНКО

Игнатий Николаевич Потапенко родился в 1856 году в селе Федоровна Херсонской губернии. Сын принявшего священнический сан уланского офицера и крестьянки, он учился в бурсе. Затем слушал лекции в Новороссийском и Петербургском университетах, занимался в Петербургской консерватории, которую закончил по классу пения. С 1873 года Потапенко стал выступать в периодической печати с рассказами, очерками, по преимуществу рисовавшими хорошо знакомую ему среду сельского духовенства, быт городков и местечек южных губерний Российской империи. В 80-е годы его рассказы о жизни украинского крестьянства публиковались в демократическом журнале «Дело». Широкую известность принесла Потапенко повесть «На дей-

ствительной службе», опубликованная в журнале «Русская мысль» в 1890 году. В этом произведении, как и в появившемся в 1891 году романе «Не герой», сделана попытка утвердить идеалы получившей распространение в 80-е годы либерально-народнической теории «малых дел». Вместе с тем в творчестве писателя было очевидно стремление нарисовать обширную, не лишенную сатирических красок картину общественных нравов 80-90-х годов XIX века (в романе «Не герой», в повестях «Здравые понятия» (1890), «Секретарь его превосходительства», «Семейная история» (1893) и др.).

Потапенко был известен и как драматург. На сценах столичных театров шли его пьесы «Жизнь», «Волшебная сказка», «Лишенный прав», «Чужие», «Выдержанный стиль» и др. В разные годы Потапенко активно сотрудничал в газетах «Россия», «Новое время», «Русь», на страницах которых выступал с фельетонами, театральными и литературными рецензиями.

Несмотря на некоторую расплывчатость убеждений, Потапенко умел быть принципи-

альным в некую ответственную минуту. А. М. Горький искренне удивился, когда на премьере его «Дачников» Потапенко заявил осудившим пьесу представителям «Мира искусства»: «Только в России возможна такая гнусность, господа... только в России возможно... шикать человеку, каждое слово которого — правда, правда! Стыдитесь!» {М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 28. М., Гослитиздат, 1954, с. 334.}. Удивление Горького понятно; ведь в «Дачниках» острейшей критике подвергались интеллигентные мещане, те самые «не герои», о которых с сочувствием писал Потапенко.

Из литературного окружения Чехова в 90-е годы Потапенко — наиболее близкий к нему. Они познакомились в Одессе в 1889 году. Настоящее сближение началось через четыре года в Москве и переросло в достаточно тесные дружеские отношения. Потапенко написал в 1914 году воспоминания «Несколько лет с А. П. Чеховым. К 10-летию со дня его кончины», которые говорят об их авторе как о проницательном психологе, понимавшем, что судьба свела его с истинным художни-

ком: «...он творил всегда и даже в непосредственное соприкосновение с жизнью и с людьми вступал как-то особенно, по-своему, творчески...» {«А. И. Чехов в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1960, с. 308–309.} Несомненен человеческий и творческий интерес и Чехова к Потапенко. Об этом свидетельствуют чеховские письма к А. С. Суворину. 7 августа 1893 года: «Мне с ним было очень нескучно, независимо от скрипки и романсов»; 11 ноября 1893 года: «Он нравится мне все больше и больше»; 23 марта 1895 года: «Я говорил Вам, что Потапенко очень живой человек, но Вы не верили. В недрах каждого хохла скрывается много сокровищ. Мне кажется, что когда наше поколение состарится, то из всех нас Потапенко будет самым веселым и самым жизнерадостным стариком».

Не только бившая ключом энергия, несомненное знание жизни, хороший музыкальный дар привлекали Чехова в Потапенко. Он видел и уважал в нем подлинно профессионального литератора, талантливое, остроумное, наблюдательное. Именно Потапенко

Чехов доверил сложную процедуру согласования текста «Чайки» с цензурой. Единственный из друзей и знакомых провожал Потапенко Чехова в Мелихово на другой день после провала «Чайки» в Александринском театре. Свидетельства дружеской близости содержат и письма Потапенко к Чехову. В одном из них (от 25 ноября 1895 г.) подчеркнуто, «что истинную нашу духовную связь не должны разрушать никакие внешние обстоятельства» {«Чеховские чтения в Ялте. Чехов и русская литература». М., 1978, с. 97.}. Брат Чехова Михаил Павлович вспоминал: «С Потапенко у него (Антон Павловича. — С. В.) было очень много общих литературных интересов...» {М. П. Чехов. Вокруг Чехова. Е. М. Чехова. Воспоминания. М., «Художественная литература», 1981, с. 163.}

Несмотря на то что читатели и критика нередко ставили имена обоих писателей рядом, сам Потапенко понимал, какова дистанция между ним и Чеховым. 19 мая 1895 года он писал Чехову: «Пишу разом бесконечное число повестей и романов... „Вы, нынешние, ну-тка!“ Нет, Чехов, далеко тебе до Потапенко,

так же далеко, как Потапенко до Мачтета! Ну, будь здоров, счастливый одиночка, предмет моей неиссякаемой зависти!» {«Чеховские чтения в Ялте. Чехов и русская литература», С. 102.} «Счастливый одиночка» — в этом определении и восхищении Чеховым, его принципиальностью, его умением ценить и уважать в себе художника. И вместе с тем это приговор самому себе, не устоявшему, разменявшему свой талант в погоне за «зlobой дня». «Умный и остроумный наблюдатель жизни» (так охарактеризовал писателя критик Ф. Д. Батюшков {Ф. Д. Батюшков, Критические очерки и заметки. СПб., 1900, с. 136.}), Потапенко спешил, как будто жить ему оставалось считанные годы. А меж тем, будучи старше Чехова на четыре года, Потапенко пережил его на целую четверть века. Стремление оправдать звание модного беллетриста, соединенное с извечной мыслью русского литератора о хлебе насущном, вело к спешке, излишней плодовитости, к неумению уважать свой талант. И произведения Потапенко, хотя и чутко реагирующие на злобу дня, сбивались на тезис, декларацию или описательность, утрачивая

образную емкость и выразительность формы.

Однако и у Потапенко есть рассказы, повести, очерки, правдиво запечатлевшие мир южнороссийского крестьянского быта, жизни сельского духовенства, мещанских нравов, чиновничьей психологии, беспросветного существования городских низов.

В годы Советской власти Потапенко опубликовал пьесу «Ряса» (Вологда, 1922), в которой показал корыстолюбие и ограниченность православного духовенства. Были также выпущены его книги: «Честная компания» (М.-Л., 1926), «История одной «коммуны» (Л., 1928), «Мертвое море» (Л., 1929) и др.

Умер писатель в 1929 году в Ленинграде.

Примечания

«Тытарь» — искаженное «ктитор», церковный староста.

[^^^]

Громадильница — конные грабли.

[^^^]

3

Консистория — церковное учреждение с административными и судебными функциями.

[^^^]

4

То есть хлопотал о приеме в число студентов духовной академии, находившейся в Петербурге.

[^^^]

5

Синод — высшее административное учреждение православной церкви.

[^^^]

6

Эпитимия — церковное наказание.

[^^^]

Гора на полуострове Афон в Греции считалась святым местом и привлекала множество паломников.

[^^^]

Шлоссер Фридрих Кристоф (1776–1861) — немецкий историк либерально-прогрессивного направления. Русский перевод его главного труда «Всемирная история» издан в восемнадцати томах (СПб. — М., 1861–1869) под редакцией Н. Г. Чернышевского и В. А. Зайцева. Бокль Генри Томас (1821–1862) — английский историк и социолог-позитивист, автор получившей известность «Истории цивилизации в Англии» (отдельное издание русского перевода вышло в 1863–1864 гг.).

[^^^]

Имеется в виду одна из фортепианных пьес немецкого композитора Мендельсона из цикла «Песни без слов» (1834–1847).

[^^^]

Фонари, в которых использовался фотоген,
род керосина.

[^^^]

Бурса — в дореволюционной России название общежития при духовных учебных заведениях (семинариях, училищах), в которых учащиеся содержались на казенный счет. Суровый режим, грубые права были характерны для бурсы первой половины XIX века. С середины 60-х годов во внутреннем распорядке бурс произошли некоторые смягчения и улучшения, чему в немалой степени содействовало появление в печати известных «Очерков бурсы» (1863) Н. Г. Помяловского.

[^^^]

Авдиторы — ученики бурсы, в обязанность которых входило выслушивать уроки, приготовленные товарищами по классу, и ставить оценки в специальных тетрадях. Секуторы (правильно — секундаторы) — ученики бурсы, которые по приказанию учителя секли своих товарищей.

[^^^]

Лития — богослужение вне храма. Соборне (старо-слав.) — вместе, сообща.

[^^^]